

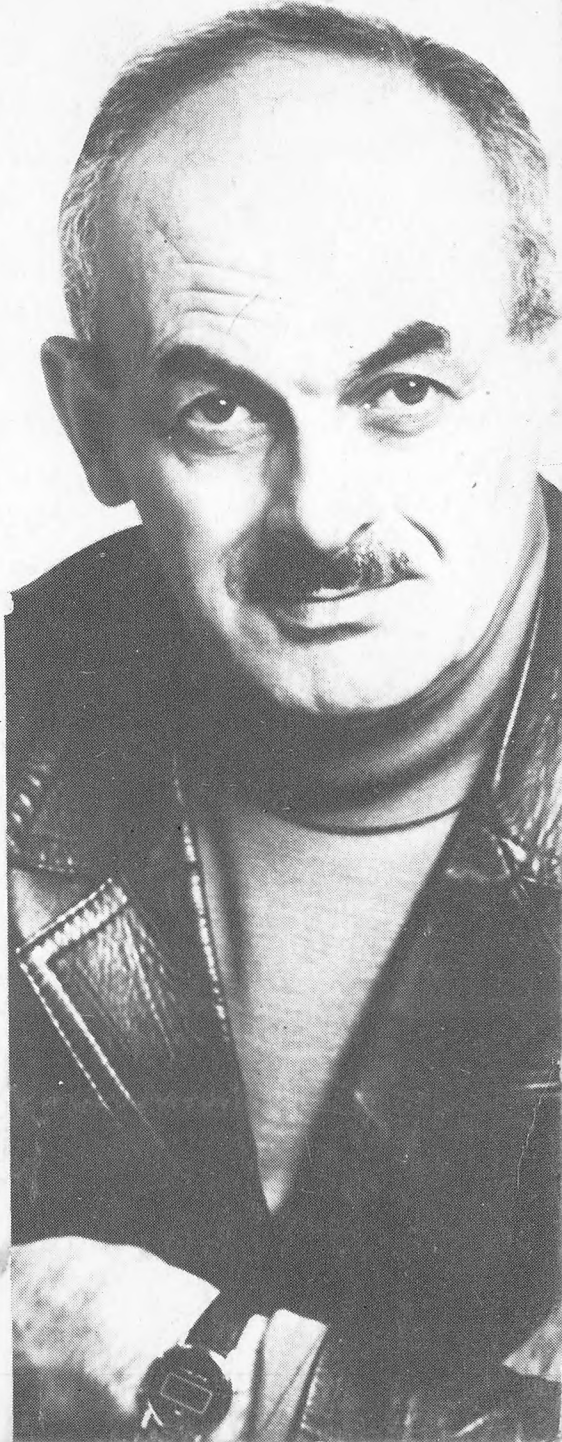
Булат Окуджава

Капли Датского короля

# БУЛАТ ОКУДЖАВА

Капли Датского короля

Киносценарии Песни для кино



У поэта совершился небу  
ни на чине и ни в судьбе.  
И когда он кумити всему свету,  
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносишь,  
жизнь и слава по камне гудя.  
Возврати, пренеши просити...  
Это он не за вас — за себя.

Но когда достигают предела,  
и зрца отлетают во шбину —  
поле произдело, сделано дело...  
Вам решатъ: для чего и кому.

Что ли мед, то ли горькая гаша,  
то ли адский обань, то ли храм.  
Всё, что было его — কাছে বলে  
Всё для вас. Посвещается вам.

Окузвал

# БУЛАТ

Капли Датского короля

# ОКУДЖАВА

**Киносценарии**  
**Песни для кино**



СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР  
Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр"  
Москва, 1991

**Составитель  
и автор примечаний В.И.Босенко**

**Художник Н.Л.Крылова**

# Капли Датского короля

*Владимиру Мотылю*

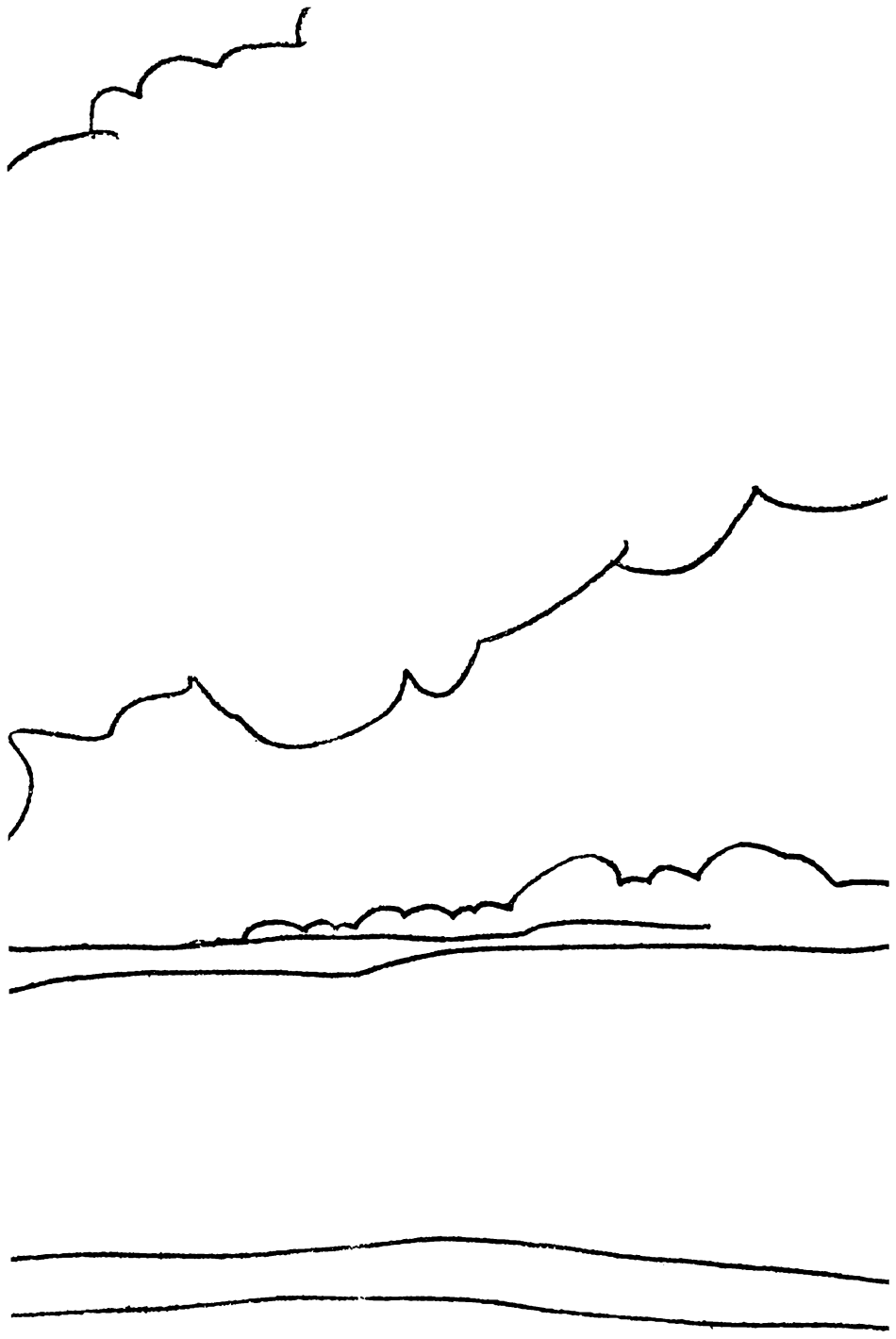
В раннем детстве верил я,  
что от всех болезней  
капель Датского короля  
не найти полезней.  
И с тех пор горит во мне  
огонек той веры...  
Капли Датского короля  
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля  
или королевы —  
это крепче, чем вино,  
слаще карамели  
и сильнее клеветы,  
страха и холеры...  
Капли Датского короля  
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,  
власть сердца щекочет.  
Грош цена тому, кто встать  
над другим захочет.  
Укрепляйте организм,  
принимайте меры...  
Капли Датского короля  
пейте, кавалеры!

1964





## До свидания, мальчики

*Б.Балтеру*

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  
стали тихими наши дворы,  
наши мальчики головы подняли —  
повзрослели они до поры,  
на пороге едва помаячили  
и ушли, за солдатом — солдат...  
До свидания, мальчики!

Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад.  
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,  
не жалейте ни пуль, ни гранат  
и себя не щадите,

и все-таки  
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:  
вместо свадеб — разлуки и дым.  
Наши девочки платица белые  
раздарили сестренкам своим.  
Сапоги — ну куда от них денешься?  
Да зеленые крылья погон...  
Вы наплюйте на сплетников, девочки,  
мы сведем с ними счеты потом.  
Пусть болтают, что верить вам не во что,  
что идете войной наугад...  
До свидания, девочки!

Девочки,  
постарайтесь вернуться назад.

1958



## Песня о московских ополченцах

*К. Симонову*

Над нашими домами разносится набат,  
и затемненье улицы одело.  
Ты обучи любви, Арбат,  
а дальше — дальше наше дело.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,  
вся жизнь моя встает перед глазами.  
Прощай, Москва, душа твоя  
всегда-всегда пребудет с нами!

Расписки за винтовки с нас взяли писаря,  
но долю себе выбрали мы сами.  
Прощай, Москва, душа твоя  
всегда-всегда пребудет с нами!

## Песенка о пехоте

Простите пехоте,  
что так неразумна бывает она:  
всегда мы уходим,  
когда над землею бушует весна.  
И шагом неверным по лестничке шаткой  
спасения нет...  
Лишь белые вербы,  
как белые сестры, глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,  
когда затяжные дожди она льет.  
Не верьте пехоте,  
когда она бравые песни поет.  
Не верьте, не верьте,  
когда по садам закричат соловьи:  
у жизни со смертью  
еще не окончены счета свои.

Нас время учило:  
живи по-походному, дверь отворя...  
Товарищ мужчина,

а все же заманчива должность твоя:  
всегда ты в походе,  
и только одно отрывает от сна:  
чего ж мы уходим,  
когда над землею бушует весна?  
Куда ж мы уходим,  
когда над землею бушует весна?..

1961

## Шла война к тому Берлину...

Шла война к тому Берлину,  
Шел солдат на тот Берлин.  
Матушка, не плачь по сыну —  
у тебя счастливый сын.

Шел не медленно, не быстро,  
Не жалел солдатских ног.  
Матушка, ударил выстрел —  
Покачнулся твой сынок.

Опрокинулся на спину  
И остыл среди осин.  
Матушка, поплачь по сыну —  
у тебя счастливый сын.

## Мы за ценой не постоим

Здесь птицы не поют,  
Деревья не растут,  
И только мы, к плечу плечо,  
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,  
Над нашей родиной дым —  
И, значит, нам нужна одна победа,  
Одна на всех, мы за ценой не постоим!

Нас ждет огонь смертельный,  
И все ж бессилен он.  
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный  
Десятый наш десантный батальон,  
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас, —  
Звучит другой приказ,  
И почтальон сойдет с ума,  
Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,  
Бьет пулемет неутомим,  
И, значит, нам нужна одна победа,  
Одна на всех, мы за ценой не постоим!

Нас ждет огонь смертельный,  
И все ж бессилен он.  
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный  
Десятый наш десантный батальон,  
Десятый наш десантный батальон.

От Курска и Орла  
Война нас довела  
До самых вражеских ворот,  
Такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это,  
И не поверится самим.  
А нынче нам нужна одна победа,  
Одна на всех, мы за ценой не постоим!

Нас ждет огонь смертельный,  
И все ж бессилен он.  
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный  
Десятый наш десантный батальон,  
Десятый наш десантный батальон.

1969

## Аты-баты, шли солдаты...

Аты-баты, шли солдаты,  
аты-баты, в дальний путь.  
Не сказать, чтоб очень святы,  
но и не в чем упрекнуть.

Аты — справа, баты — слева,  
шла девчонка среди них —  
не сказать, чтоб королева,  
но не хуже остальных.

Разговор об этой крале  
те солдаты завели —  
не сказать, чтоб приставали,  
но и мимо не прошли.

А она остановилась,  
черной бровью повела —  
не сказать, чтобы влюбилась,  
но и против не была.

Аты-баты, шли солдаты,  
аты-баты, в дальний путь.  
Не сказать, чтоб очень святы,  
но и не в чем упрекнуть.

## Затихнет шрапнель...

Затихнет шрапнель,  
И начнется апрель.  
На прежний пиджак  
Поменяю шинель.  
Вернутся полки из похода,  
такая сегодня погода.

А сабля сечет,  
да и кровь все течет.  
Брехня, что у смерти  
есть точный расчет,  
что где-то я в поле остался...  
Назначь мне свиданье, Настасья!

**В назначенный час  
заиграет трубач,  
что есть нам удача  
среди всех неудач,  
что все мы еще молодые  
и крылья у нас золотые...**

### **Бери шинель, пошли домой...**

**А мы с тобой, брат, из пехоты.  
А летом лучше, чем зимой.  
С войной покончили мы счеты...  
Бери шинель —  
пошли домой.**

**Война нас гнула и косила.  
Теперь конец и ей самой.  
Четыре года мать без сына...  
Бери шинель —  
пошли домой.**

**Мы все — войны шальные дети:  
и генерал и рядовой.  
Опять весна на белом свете...  
Бери шинель —  
пошли домой.**

**К золе и пеплу наших улиц  
опять, опять, товарищ мой,  
скворцы пропавшие вернулись...  
Бери шинель —  
пошли домой.**

**А ты с закрытыми глазами  
спишь под фанерною звездой.  
Вставай, вставай, однополчанин,  
бери шинель —  
пошли домой.**

Что я скажу твоим домашним?  
Как встану я перед вдовой?  
Неужто клясться днем вчерашним?..  
Бери шинель —  
пошли домой.

### А годы уходят, уходят...

В нашем доме война отгремела,  
Вновь земля зеленеет,  
Злые пули по кровь не летят...  
Женихи навсегда молодые  
С фотографий военных глядят.  
А годы уходят, уходят,  
Вернуться назад не хотят...

По дорогам, по старым дорогам  
Отправляется память  
Иногда, словно так, невпопад...  
Как из песни не выкинуть слова,  
Так из сердца — погибших ребят.  
А годы уходят, уходят,  
Вернуться назад не хотят...

Твои плечи с бедою знакомы,  
Твои белые руки  
Кровь и пепел смывали с полей...  
И земля никогда не забудет  
Боль и слезы своих дочерей.  
Хоть годы уходят, уходят,  
Хоть время торопит — скорей!

Может, время всех ран не излечит,  
Но черемухи белой  
Невозможные гроздьи горят...  
Потому что любовь и надежда,  
Что ни делай — бессмертны сто крат!  
А годы уходят, уходят,  
Вернуться назад не хотят...

## **Блиндажи той войны все травой заросли...**

**Блиндажи той войны все травой заросли,  
Год за годом затихли бои.  
Не трава, не года эту землю спасли,  
А открытые раны твои.**

**То полдень, то темень,  
То солнце, то вьюга,  
То ласточки, то воронье...  
Две вечных дороги —  
Любовь и разлука —  
Проходят сквозь сердце мое.**

**Наша память не в силах уйти от потерь,  
Все с фонариком бродит в былом.  
Даже в праздничный день чья-то тихая тень  
Вместе с нами сидит за столом.**

**То полдень, то темень,  
То солнце, то вьюга,  
То ласточки, то воронье...  
Две вечных дороги —  
Любовь и разлука —  
Проходят сквозь сердце мое.**

**Сколько лет, сколько зим, как умолкла война,  
Сколько слез утекло, сколько рек.  
Мы однажды с тобой попрощались сполна,  
Чтоб уже не прощаться навек.**

**То полдень, то темень,  
То солнце, то вьюга,  
То ласточки, то воронье...  
Две вечных дороги —  
Любовь и разлука —  
Проходят сквозь сердце мое.**

## Прощание с Польшей

*Агнешке Осецкой*

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою  
в прощанье и в прощенье, и в смехе и в слезах:  
когда трубач над Краковом  
возносится с трубою,  
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,  
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,  
когда под крик гармоник уходим мы привычно  
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,  
за долгое молчанье, за поздние слова...  
Нам время подарило пустые обещанья,  
от них у нас, Агнешка, кружится голова.

Над Краковом убитый трубач трубит бесшумно,  
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.  
Мы — школьники, Агнешка, и скоро — перемена,  
и чья-то радиола наигрывает твист.

## Счастливый жребий

После дождика небеса просторны,  
голубей вода, зеленее медь.  
В городском саду флейты да валторны,  
капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помятся прежние оркестры,  
не военные, а из мирных лет.  
Расплескалася в улочках окрестных  
та мелодия, а поющих нет.

С нами женщины — все они красивы,  
и черемуха — вся она в цвету.



**Может, жребий нам выпадет счастливый:  
снова встретимся в городском саду.**

**Но из прошлого, из былой печали,  
как ни сетую, как там ни молю,  
проливается черными ручьями  
эта музыка прямо в кровь мою.**



**Булат Окуджава  
Владимир Мотыль**

**„Женя, Женечка  
и „катюша“,  
или Необыкновенные  
и достопоучительные  
фронтовые похождения  
гвардии рядового  
Евгения Кольшкина,  
вчерашнего школяра“**

---

**Киноповесть**

## Вместо предисловия

Темы носятся в воздухе, как тополиный пух. Успевай — подхватывай.

Вот и мы с Владимиром Мотылем, еще ничего не зная друг о друге, бегали по земле и, оказывается, поймали одну и ту же тему.

Писали мы так. Садись где-нибудь на скамеечке в каком-нибудь глухом парке и начинали рассказывать друг другу о своем герое все, что приходило в голову. При этом мы отчаянно хохотали. Но на бумаге получалось не смешно. Это нас очень мучало и удручало. И мы встречались уже в другом парке и снова обговаривали эпизод за эпизодом. С каждым разом мы смеялись все меньше и меньше, а на бумаге, как ни странно, становилось все смешнее и смешнее.

Это уже начинало отдавать мистикой, и мы готовы были сдать перед темными силами природы, если бы нас не вдохновлял договор и не связывали сжатые сроки.

И вот сценарий был написан и пошел, как говорится, по рукам очень знающих, искушенных и компетентных лиц.

И тут мистика вспыхнула с новой силой. Вокруг сценария разгорелись споры: стоило, например, одному объявить эпизод слабым, как тотчас другой считал именно этот эпизод нашей творческой удачей. Стоило третьему попытаться доказать, что такой герой не мог полюбить такую героиню, как четвертый возражал, утверждая, что именно такой герой и мог полюбить такую героиню. Пятый говорил, что это настоящая комедия, но в ней не хватает кавалерии, что добавило бы настоящего комизма. Шестой жаловался, что ему не смешно, но можно спасти положение, если героем сделать девушку, а не молодого человека. Седьмому сценарий понравился безоговорочно и прежде всего тем, что в нем никто не погибает. “Давно не видел такой приятной войны, — сказал он. — Это очень своевременно в наш суровый век”.

Мы засели за переделки. В первую очередь Владимир Мотыль, отличающийся крайним упрямством, решил внести в комедию трагический элемент. Я по слабости духа ему не противоречил. Мы ввели сцену убийства, кавалерию в большом количестве, молодого человека сделали пожилым и т.п.

Изучив наш труд, знатоки посоветовали нам вывести из сценария кавалерию, оставив только “катуши”, никого не убивать, сделать пожилого человека молодым и т.п.

Мы снова зесели за переделки и всё восстановили в прежнем виде, кроме одного, — трагическая сцена осталась.

О съемках картины можно было бы рассказывать много интересного и смешного (более смешного, чем это есть в нашем сценарии), но это — производственная тайна. Поэтому я и умолчу, чтобы вам, уважаемые читатели, не омрачать свой досуг, читая описания всяких сложностей и несообразностей, чтобы все у вас шло легко, красиво, как по маслу.

*Б.Окуджава*

## Вместо пролога

*О том, как история Жени Колышкина могла закончиться, едва начавшись, по причине того, что наш герой проявил неосмотрительность, которая могла оказаться для него и для нас роковой*

Это случилось погожим августовским утром одна тысяча девятьсот сорок четвертого года.

По узкой лесной тропинке беззаботно шагал юноша в солдатской форме с вещевым мешком за плечами.

Линялая гимнастерка была ему не по росту, руки торчали из коротких рукавов, большие кирзовые сапоги болтались на длинных ногах. Мальчишеская нескладность, угловатость, которые подчеркивала непригнанная форма, сочетались в этом худощавом юноше с вызывающе гордой осанкой и озорным выражением лица, будто это был не солдат, а мальчишка, играющий в солдата.

Он ловко перемахивал кусты и воронки, высоко подпрыгивал, чтобы сорвать с дерева листок или ветку, просто так, от избытка сил. При этом он выкрикивал, повторял на все лады, заучивая наизусть:

— Товарищ гвардии младший лейтенант!.. Гвардии рядовой сто тридцать девятого, отдельного, добровольческого, ордена Кутузова второй степени и ордена Отечественной войны первой степени, краснознаменного дивизиона гвардейских минометов... Евгений Колышкин после благополучного излечения в госпитале прибыл...

Мы уже упоминали о том, что это было тихое теплое утро, фронт был где-то далеко, и если бы не глухое далекое “бум-бум-бум!”, можно было подумать, что его и вовсе нет, а есть только этот прекрасный лес, поляны с цветами, синее небо и река, что внезапно сверкнула где-то внизу, между деревьями.

В голубой зеркальности воды плыло спокойное облако. Казалось, ничто не предвещает опасности. И Колышкин скинул потную одежду и погрузился в ласковую речную прохладу.

Ах, Колышкин, Колышкин! Если бы ты всмотрелся в небо, ты заметил бы черную точку, что выползла из-за облака. Если бы ты вслушался в обманчивую тишину, ты обнаружил бы в ней нарастающий гул самолета... Но ты нырнул с наслаждением,

забыв обо всем на свете, и видел лишь небесную синь да золото солнца сквозь зеленую воду.

А фашист был хитер. Он пикировал с выключенным мотором...

Бывает же такое! Наверное, только на войне. Знай Колышкин об опасности, он попытался бы выбраться из реки, укрыться и наверняка попал бы под пули, но ничего этого Женя не знал, и перед тем самым мгновением, когда немец нажал гашетку, он вдохнул и погрузился в воду с головой, стараясь достать дна, просто так — от избытка сил.

Строчка пуль полоснула по воде и берегу, и, взревев, самолет ушел к облакам.

Когда Колышкин выбрался наконец из воды, “мессер” был уже далеко, и Женя снова его не заметил. Он прыгал, вытряхивая воду из ушей, и все повторял предстоящий рапорт:

— Товарищ гвардии младший лейтенант... товарищ гвардии...

Черная точка в небе растаяла, и гул самолета растворился в звоне кузнечиков и тихом шелесте прибрежных кустов.

Вероятно, наш герой так и не узнал бы, что жизнь его висела на волоске, когда бы не обгорелые дыры на гимнастерке, пробитые крупнокалиберными пулями. Он очень удивился, обнаружив это, и еще больше — найдя запутавшуюся в материи пулю.

Теперь мы позволим себе на некоторое время оставить нашего героя, чтобы сообщить вам о песенке, которую вы непременно услышите с экрана и которая своим кажущимся несоответствием с происходящими событиями может вызвать ваше удивление:

С детских лет поверил я, что от всех болезней  
капель Датского короля не найти полезней,  
и с тех пор горит во мне огонек той веры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры!

Может быть, кому-то эта песенка покажется не совсем подходящей или неподходящей совсем. Не торопитесь с выводами. В дальнейшем смысл песенки, ее отношение к сюжету несколько проясняется, она еще будет возникать по ходу повествования.

Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель  
растворяются легко в звоне этих капель.  
Солнце, май, Арбат, любовь — выше нет карьеры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры!

## Глава первая

*Повествует о том, как наш герой благополучно достиг цели своего путешествия и смог заключить в объятия старых друзей*

Он сбегал с пригорка, миновал реденькую выжженную рощу и прислушался. Треснула ветка в стороне, другая, затрещали кусты. Он увидел: среди лесной зелени замелькала, удаляясь, девичья фигурка в защитной гимнастерке, а из-за ближайшего ствола вышел сержант Лешка Зырянов, застегивая пуговицу на воротнике. Он был начищен и подтянут назло войне, только лицо было слегка растерянно, то ли от внезапности встречи, то ли от чего-то еще.

— Я как знал, что тебя встречу! — сказал Зырянов с плохо скрытой досадой. — Ну надо же...

Женя радостно бросился к Лешке. А вдалеке продолжали потрескивать сучья, и среди деревьев мелькала девичья головка с золотистыми волосами.

— Вот черт, — сказал Женя, — меня чуть было в другую часть не упекли!

— Молоток, — проговорил Лешка рассеянно, — ну молоток...

— Добрался, — улыбнулся Женя, — прямо чудеса. Ну как вы тут?

— Лафа, — сплюнул Лешка. Потом похлопал Женю по плечу. — Скоро на передовую, дадим фрицам прикурить.

— Гебен зи битте айн цигаретте, — сказал Женя, и это означало: дайте, пожалуйста, закурить.

— Ну молоток! — удивился Лешка. — По-немецки научился шпарить. — И беспокойно оглянулся.

— Да нет, — сказал Колышкин, — это в госпитале листок из книжки попался, выучил от скуки. В школе тоже учили, да все как-то так... туман.

Вдалеке продолжали потрескивать сучья, и Женя спросил:

— А это кто такая была?

— Ну пошли, что ли, — сказал Лешка, — а то меня хватятся.

— Женщина? Да? — не унимался Женя.

— За нами тут “юнкерсы” охотились, — уклонился Лешка. — Чуть не накрыли.

— Да-да, — сказал Женя. — А ты что в лесу-то делал?

— Подходы к дороге смотрел. Всыплет мне младший лейтенант. Я уже целый час здесь хожу.

— А она с тобой ходила? — спросил Женя.



— Чего? — обиделся Лешка.

— Да я ж видел, — засмеялся Женя.

— А, эта? Это родственница у меня вдруг объявилась. Понял? Связистой недавно прислали.

— Так у тебя ж родственница еще в прошлом году объявилась, — сказал Женя беспощадно.

— То тетка. А это — свояченица. Понял?

— А в Москве, когда в училище были?

— Сестра, — радостно сказал Лешка. — В Москве — сестра...

Двоюродная сестра.

— Стой! — раздалось совсем рядом.

Они остановились.

— Чего орешь? Свои, — сказал Лешка.

— Не шевелись! — приказал голос, и перед ними возник краснолицый ефрейтор Захар Косых и автоматом уперся Колышкину в грудь. — Кто такие будете?

— Да ты что, его не узнал? — удивился Лешка.

— Это же я, Женя Колышкин! Что с тобой, Захар!

— Какой еще Колышкин? — усмехнулся Косых. — Вот сейчас сдам начальнику караула. И все.

— Да я ж из госпиталя пришел! — растерянно сказал Женя и сунул Захару бумажку. — Вот добрался.

— Это мне ни к чему, — сказал Косых посмеиваясь. — Сдам, и все. Пряткий ты больно.

Младший лейтенант Ромадин медленно перевел взгляд на Колышкина, и лицо его при этом скривилось, как от кислого. Женя стоял руки по швам, и, надо сказать, не все в нем ласкало лейтенантский взор: одежда была в дырах, пряжка сбилась куда-то на сторону. Голову Женя держал чуть набок, каблук с каблуком не совпадали. Не было в Колышкине ничего от настоящего солдата, и с этим трудно было примириться. Ромадин спрятал в карман гимнастерки недописанное письмо.

— Ну что?

Женя набрал воздуха в легкие.

— Товарищ гвардии младший лейтенант, рядовой сто тридцать девятого отдельного... гвардейского, добровольческого, ордена Кутузова второй степени и ордена Отечественной войны первой степени...

— Краснознаменного, — перебил Ромадин.

— Что? — спросил Женя, но младший лейтенант не ответил.

— Рядовой сто тридцать девятого...

— Ну, ладно, — вздохнул Ромадин. — Короче. Вы же на фронте.

— Да, да, конечно, — обрадовался Женя. — Вот наконец добрался...

— Вернулся после излечения, — поправил Ромадин и снова поморщился. — Можно было бы не возвращаться. Можно было бы в другую часть. Я бы не возражал...

— Я к своим старался попасть, — сказал Колышкин.

— Старался, — горько усмехнулся Ромадин и ткнул в продырявленную гимнастерку. — Почему в таком виде?

— Это... это из пулемета, — объяснил Женя поспешно. — Одну пулю я вытащил. Вот...

Он не успел договорить, рассказать, как все было, про речку, про “мессера”. Ромадин задохнулся от возмущения.

— Отставить, Колышкин!

— Товарищ гвардии младший...

— Ырна! Кру-гом!

Командир дивизиона майор Мушегян сидел на пеньке без одного сапога и поглядывал вдаль. Рядом солдат прибывал к сапогу подметку. Майор покрутил усы.

— Что-то я не совсем ориентируюсь. На другую машину? Зачем?

— Намучился я с ним, товарищ гвардии майор, — сказал Ромадин.

А Женя стоял рядом и, конечно, молчал, ждал, как решится его судьба. Проследив за взглядом Мушегяна, он увидел, как из-за дальней машины возникла фигура девушки в военном. Что-то нереальное было в этом внезапном появлении, в ее спокойной позе, в движении руки, когда она поправляла свои золотистые волосы. И была она как-то несовместима с мощной военной техникой, нагроможденной вокруг. И, наверное, потому Женя видел лишь ее силуэт и лицо. Силуэт и лицо, которое было прекрасно и спокойно. Откуда она возникла — никто не знал, и зачем она возникла — тоже было неизвестно.

— ...Он и в госпиталь попал не как все, — продолжал Ромадин. — Не в бою его ранило. Ящиком придавило. Честно вам скажу, когда его увезли, я даже обрадовался. И вот нате...

— Ну а ты что думаешь? — спросил Мушегян.

А Колышкин смотрел в сторону. То есть он смотрел прямо, но как-то уж так вышло, что сам майор оказался в стороне.

— Вот, видите? — сказал Ромадин. — Вот так всегда. Колышкин! — Женя повернул голову. — Вечная рассеянность, товарищ гвардии майор.

— Да, да,.. — спохватился Женя. — Только не рассеянность, а сосредоточенность. Меня подводит моя сосредоточенность.

— Я спрашиваю, как думаешь в дальнейшем? — спросил Мушегян строго, натягивая сапог.

А у Жени перед глазами все еще маячил девичий силуэт, и он ответил не очень четко и не очень по-военному:

— Видите ли, я уже не в том возрасте, когда легко меняют привычки.

— Что? — нахмурился майор.

— Ну вот, — сказал Ромадин.

— Это к тому, что я привык, — заторопился Женя, — привык к своей машине. И я буду стараться, вы знаете, от Лепеля я, можно сказать, пешком...

— Ну так как же, товарищ гвардии майор? — спросил Ромадин с надеждой.

— А вот так же, — ответил Мушегян и встал. — Воспитывай своих солдат, Ромадин. Другая машина — это что, исправительный дом? Вечно у тебя истории!

## Глава вторая

*Повествует о том, как наш герой прекрасной августовской ночью имел честь представиться не менее прекрасной незнакомке, оказавшейся Женечкой Земляникиной, и какие последствия эта встреча возымела*

Была теплая ночь, и луна выкатилась и повисла над редким лесом. Все спали, а Лешка Зырянов прохаживался в карауле, подтянутый и изящный, как гусар. Женя Колышкин никак не мог уснуть после такого насыщенного событиями дня. Он встал и медленно побрел по лагерю, обходя машины, которые казались ему фантастическими существами. Это и были легендарные “катюши”, а вокруг, прямо на траве, спали солдаты.

Женя шел и воображал себя героем увлекательной книжки, где война была не такой, какой он успел увидеть ее, а совсем-совсем иной. На реальной войне действовало много людей и техники, и лично от него, Колышкина, исход военных операций, представьте, не зависел. К тому же гвардейские минометы — “катюши” — непосредственно с противником не встречались, а, едва отстрелявшись, меняли район и укрывались в прифронтовых лесах. И хотя Женя крепко привязался к своему расчету, ему казалось, что главное на войне проходит мимо него. Взять хотя бы эту дурацкую историю с госпиталем...

“Мои друзья крепко спят в опочивальне замка, хрустя прохладными простынями. В этом сугубо мужском обществе заключена неповторимая прелесть: полная раскованность, никаких условностей. *Pas de conventions — la liberté complète\**.”

\* Вне условностей — полная свобода (франц.).

Штора в окне едва колыхалась. Кони шуршали по траве. Все предвещало восхитительное утро, полное блистательных поединков и побед...

Так фантазировал он и вдруг остановился. Он увидел — возле машины связя спала девушка с золотистыми волосами. Голова ее утопала в цветах. Луна освещала прекрасные черты. Покрыта она была чем-то темным, но, видно, легким, воздушным. А может быть, это сама ночь укрывала ее...

Колышкин сделал шаг в ее сторону, и еще один, и еще... как кролик, идущий к удаву. Но нашел в себе силы остановиться и смотрел, как она ровно дышала, как уронила белую ладонь на темную, ночную траву. Потом она медленно приподняла ресницы, и вдруг глаза ее распахнулись. Не изменив положения, она что-то сказала. Женя не слышал что, он только видел, как шевельнулись ее губы. Он хотел спросить ее, о чем она говорит, но не решился. А девушка снова проговорила что-то.

— Что? — спросил Колышкин шепотом, чтобы не нарушить фантастичности ночи.

— Ну чего вылутился? — сказала девушка.

— А-а, — оторопел Колышкин, — ну, ладно... — И на цыпочках пошел прочь.

Потом он оглянулся и увидел, как она обернулась, поднесла руку к губам и сделала какой-то тайный знак. А он никак не мог понять, что же это все-таки значит...

Конечно, будь он ближе, он увидел бы, что она попросту зевнула и прикрыла рот ладонью.

Стало светать. Луна куда-то закатилась, и Лешка, пристроив за спину автомат, полез на раскоряченную сосну. С дерева он увидел солдат, разметавшихся за машиной на плащ-палатках, младшего лейтенанта Ромадина, который даже во сне сохранял на лице строгое выражение. Увидел Колышкина, который ходил вокруг машины и поглаживал и похлопывал ее, словно это было живое существо.

— Вот лунатик, — сказал Лешка, повернулся в другую сторону и увидел спящую девушку. Он поднес к глазам бинокль, и смутные очертания девичьей фигуры приблизились.

Сверху Зырянову казалось, что Колышкин всецело поглощен созерцанием военной техники. Между тем Женя ни на мгновение не забывал о присутствии удивительного существа с золотистыми волосами. Обходя машины, он нет-нет да и поглядывал на спящую. И ему хотелось стать необыкновенным, совершить что-то, обратить на себя внимание. И, вероятно, ища выхода своим несбыточным мечтам, он встал на подножку машины и воскликнул шепотом:

— За великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и его родовое поместье “Ясная Поляна” — залп!..

Девушка пошевелилась во сне, но не проснулась на этот раз. А он уселся в кабину и снова посмотрел на спящую.

— За великого писателя наших союзников Семюэла Ленгхорна Клеменса, известного под псевдонимом Марк Твен (*жаль, что она не видела, как эффектно он восседал за рулем*), — залп!..

И вдруг то ли сама по себе, то ли Колышкин коснулся чего-то там невпопад, машина тронулась и покатила под уклон. Женя заметался на сиденье, нажимал ногами на педали, хватался за рычаги.

Лешка ахнул и, почти не касаясь руками сучьев, метнулся с дерева. И тут случилось самое страшное.

Красные хвосты полоснули по земле за машиной, и несколько ракет с оглушительным ревом сорвалось со спарок и исчезло за деревьями. Младший лейтенант Ромадин вскочил, держась за ягодицы, из-под ладони пробивался дымок. Лешка прыгнул на подножку мчащейся машины.

— Фрицы! — крикнул кто-то.

Из горящего перелеска выбегали маленькие черные фигурки и металась по полю.

— Фрицы!

— Товарищ гвардии младший лейтенант, это я командовал огонь! — задыхаясь, выговорил Лешка, выпрыгнув из остановленной машины. — Я!.. Я командовал ... Там фрицы, видите?!

Обожженные немецкие парашютисты стояли перед Мушегяном. На траве валялись автоматы и какие-то штуковины неизвестного назначения.

— Вы что же, накрыть нас хотели? — спросил Мушегян у немцев.

Молчание.

— Ну что ты будешь делать?! — огорчился Мушегян. — Кто-нибудь знает немецкий, хотя бы в пределах семилетки?

Все смотрели друг на друга и опускали глаза.

— Э-э, и чему вас только учили! — вздохнул Мушегян и добавил тише: — И меня тоже...

И тогда Лешка Зырянов вышел вперед и сказал неуверенно:

— Товарищ гвардии майор, у нас Колышкин умеет.

— Ну? — оживился Мушегян. — Что ж ты молчал? Иди допрашивай.

Женя стоял подавленный случившимся и не сразу понял, что обращаются к нему. Он знал, что совершил преступление, за которое понесет страшное наказание. Он видел закопченное лицо младшего лейтенанта Ромадина, видел его скучные глаза

и обгорелую одежду и понимал, что он, Колышкин, обречен. И он произнес, страдая, с трудом подыскивая слова:

— Товарищ гвардии майор... мне очень жаль... я знаю немного по-французски, но...

Майор почему-то обрадовался:

— Ладно, давай по-французски.

Однако, заметив, как робко и боязливо Колышкин приближался к немцам, майор насторожился.

— Может, ты знаешь “хальт”, “хенде хох” и “капут”? Тогда уходи.

И Женя ушел бы, но как раз в этот момент рыжий немец сказал Колышкину фразу, которая кончалась уже знакомыми словами:

— ...гебен зи битте айн цигаретте...

— Покурить просят, — выдавил Женя, приходя в себя.

— Сколько их было? — спросил майор.

Путая немецкие и французские слова, Женя пытался перевести вопрос, но немцы догадались сами, ответили хором и показали на пальцах.

— Одиннадцать, — сказал Женя.

— Где остальные?

Колышкин спросил, отчаянно жестикулируя.

Немцы снова ответили хором, и он услышал слово “капут”.

— Умерли, — сказал он радостно и поправился: — в смысле убиты.

— Как они здесь очутились?

Немцы ответили, перебивая друг друга. Торопились. И Женя, конечно, не понял ни единого слова.

Казалось, позор неминуем. Но, к счастью для нашего героя, само провидение в образе связистки с золотистыми волосами поспешило к нему на выручку.

— Так это же радиосигнализаторы, — сообщило “провидение” благосклонно, и Женя увидел прекрасную незнакомку. Она повертела в руках одну из “штуковин”, что валялись рядом с обгорелым парашютом. — Если это включить, сразу “юнкерсы” прилетят...

Картина была ясна. Всем. В том числе и нашему герою.

— Merci beaucoup, j'ai compris déjà\*, — бросил он девушке и повернулся к майору. — Значит, дело было так. Их сбросили с самолета. На парашютах... Они должны были пробраться к нам и подбросить радиосигнализаторы. Но едва они высадились, как по ним... — Женя жестом показал, как взлетели его ракеты.

— Молодец... Полиглот, — улыбнулся Мушегян.

Ефрейтору Захару Косых очень понравилось непонятное

---

\* Благодарю, я уже понял (франц.).

слово, похожее на кличку, и он расхохотался. Брови майора взлетели.

— А между прочим, кто дал команду?

Все молчали.

— Я спрашиваю, кто стрелял? — повторил Мушегян.

— Гвардии рядовой Колышкин, — упавшим голосом доложил Ромадин и добавил: — вернувшийся после излечения.

— Колышкин — ты? — спросил Мушегян.

Женя кивнул.

— Молодец!

У Колышкина был глупый вид, у младшего лейтенанта тоже.

— Молодец! — повторил Мушегян на этот раз без улыбки.

— Ромадин, отправь его в штрафроту.

— Есть отправить его в штрафроту! — сказал Ромадин с воодушевлением.

Вот так бесславно, не успев начаться, закончилась военная биография Евгения Колышкина, вчерашнего школяра, и нам остается только признать ошибку в выборе героя, который не только не может служить образцом для подражания, но и вообще не достоин быть героем комедии. Характер его неустойчив, нетверд, и, как видите, он поставил нас перед необходимостью прекратить комедийное повествование и перейти к драматическому. Однако снова providению было угодно проявить благосклонность к нашему непутевому герою, и в самую критическую минуту оно возникло перед майором на этот раз в облике молодого вестового, который звонко доложил:

— Немцы сбросили парашютистов... одиннадцать человек.

Для поиска нашего дивизиона, чтобы сообщить бомбардировщикам координаты. Приказ из штаба дивизии: найти десант и ликвидировать.

Найти и ликвидировать? Да вот же они! Найдены и ликвидированы.

Мушегян покрутил усы, взглянул на бледного Колышкина и сказал после паузы:

— Вот что, Ромадин. Отправь его в штрафную роту, если он позволит еще что-нибудь подобное... Надеюсь, ясно?

Женя не поверил своим ушам и сказал с радостным облегчением:

— Ну естественно... — затем спохватился: — Так точно!

Глубоко разочарованный Ромадин вздохнул и, опустив голову, побрел к лагерю.

Его догнал Лешка Зырянов.

— Товарищ гвардии младший лейтенант, тут деревня... близко совсем... разрешите добежать, во-о-он за лесочком. Я мигом.

— Ну что бы разбудить меня, Зырянов, — сказал расстроенный Ромадин. — Опять из-за вас история. Пятно на весь расчет.

— У меня родственница там. Я с ней два года не виделся.

— На этот раз вывернулись, — сказал Ромадин. — Но больше я покрывать вас не стану. Теперь держитесь...

— Она ждет меня, плачет, наверное...

— Плачет, — повторил Ромадин и вдруг закричал: — Ырна! Кру-гом!

Правдами или неправдами Лешке Зырянову удалось все-таки повидать Женечку Землянкину. Она возилась с проводами, а он шел мимо и бросил небрежно:

— Чего ж не пришла-то?

— А ты ждал? — спросила она, не оставляя дела.

— Факт, — Лешка достал папироску.

— Не привык ждать? — спросила Женечка, и Лешке не понравился ее тон. — А я люблю, когда меня ждут.

— Ты подумай, — Лешка усмехнулся.

— А вот и подумай, — сказала Женечка и ушла.

Ушла! Этого Лешка не ожидал. А знаете ли вы, какие девочки сохли по нему и проливали слезы! И все-таки она ушла. Это был факт. И с этим нельзя было ничего поделать. Разве что досадливо сплюнуть. И Лешка сплюнул.

А на следующее утро — опять ничего фронтowego, ничего, что хоть чем-нибудь напоминало бы войну. Представьте себе великолепную лесную поляну, разукрашенную цветами, замаскированные “катуши”, напоминающие киоски в каком-нибудь парке культуры, а на самом верху, словно венчающего крышу киоска, — большого пестрого петуха, горланящего утреннюю песню. Представьте себе младшего лейтенанта Ромадина, тщательно и неторопливо выбривающего себе щеки, Лешку Зырянова, делающего гимнастику, полуголых умывающихся Захара Косых и Женю Колышкина, и вы окончательно перестанете верить, что все это происходит на войне, в каких-нибудь десяти километрах от передовой.

Так вот, в это прекрасное утро, в этой вполне мирной обстановке совершилось событие, последствия которого еще долго были на устах у героев нашего повествования.

Ефрейтор Захар Косых обливался с наслаждением, крикал, фыркал и гоготал. Воспользовавшись тем, что Колышкин намыливал лицо, он опорожнил всю посуду с водой и радостно хлопал себя по животу, по бокам, наслаждаясь самим фактом своего существования.

Колышкин ощупью пошарил по пустым ведрам, котелкам, но воды не оказалось.



— Чего шарить-то? — сказал Захар. — Нету воды, кончилась водичка... Поди к связистам — у них там полная бочка.

Не подозревающий подвоха Колышкин, нелепый в своих широких трусах, с намыленным лицом, бодрой слепой рысцой направился к машине связи.

Он, конечно, не заметил, что на ее капоте был укреплен фанерный щит, на котором написано безапелляционно:

“Кто сунется — врежу!!! Земляникина”.

Он обогнул машину и кинулся на плеск воды. За машиной, за развешанной плащ-палаткой, обнаженная, слепая от мыла Женечка Земляникина, склонившись над бочкой с водой, намыливала золотистые волосы. Колышкин, ничего не видя, кинулся к воде и стал торопливо смывать с лица мыло. Некоторое время они касались друг друга плечами. Потом она спросила, не открывая глаз:

— Маш, а Маш, ты поставила чайник?

— Что? — не понял Колышкин.

И тут Женечка открыла глаза и, увидев рядом с собой существо иного пола, нанесла нашему герою сокрушительный удар. Он свалился под плащ-палатку. Открыл глаза. И увидел за кустом неподвижную, как изваяние, прекрасную незнакомку, прикрывающуюся гимнастеркой.

— У нас на лесозаготовках тоже одна была, — сказал Захар Косых, — Капитолиной звали. Кто сунется к ней вот вроде него (*это про Колышкина*), она кулаком по роже, кто опять — табу-реткой. Это она кокетничала.

Гвардейцы несли ящики и смеялись. И только Женя огорченно мотал поникшей головой, переживая печальный инцидент.

Насмешки Захара были неприятны ему, и он пошел прочь.

— Э-э-э, погоди, — остановил его Захар, — ты слушай, слушай, когда дело говорят. Баба, она в душе — тоже человек и требует к себе уважения. Ты с ней по-нашему, по-простому, она за тобой куда хошь пойдет... А тебе бы сразу лапоть, да?

Все опять засмеялись.

— Ну, Захар, — сказал Женя с отчаянием, — ты натура цельная, гармоничная, а я, увь! — И пошел куда глаза глядят.

Захар долго смотрел ему вслед, не понимая. Что-то недоброе послышалось ему в словах Колышкина, а что — не разобрал. И крикнул вслед на всякий случай:

— Это кто это цельная? Кто это цельная?! Тебя бы на лесозаготовки, я бы посмотрел, кто из нас цельная! — И добавил неожиданно: — Пылеглот!

С тех пор эта кличка прилипла к Колышкину. Никто не называл его иначе как полиглот, или полеглот, а кто и пулеглот, кому как больше нравилось. Впрочем, один человек называл Женю по-иному. Но об этом вы узнаете, знакомясь со следующей главой.

## Глава третья

*Повествует о том, как наш герой вступил в поединок с Женечкой Землянкиной, и о том, как сразил ее своим красноречием, о чем она, однако, так и не узнала*

Она спускалась с пригорка в благоухающую цветами лесную поляну, словно ангел с небес! Она шла среди этих цветов в шинели нараспашку, вскинув голову, загадочно улыбаясь! И все смотрели на нее, солдаты и офицеры, и Лешка глядел ревниво и унытожающе, но она не замечала. Она шла к машине, возле которой, грустно нахохлившись, стоял Колышкин с перевязанным горлом.

И она хлопнула его по спине, по-свойски эдак:

— Как жизнь, ежик?

Он молча повернулся к ней, недоуменно глянул.

— Что это? — сказала она. — Опять чиряк? Ну ничего, Германия близко. Там пиво, говорят, потрясающее. Подлещись.

А Лешка слышал этот разговор и потому ехидно заметил:

— Сестра милосердия...

Женечка словно не слышала. Она схватила пачку папирос, лежавшую на крыле машины:

— Ого! “Беломор”? Посидим — покурим?..

Колышкин попытался уйти, но Женечка остановила его, сунула ему под нос галету.

— Благодарю вас, — сказал Женя сухо, — я сыт.

— А ты представь себе что-нибудь вкусненькое. Я, например, всегда конфеты представляю. Вот до войны, например, была “Клубника со сливками”. Потрясающие!

Пока она говорила, подошел Захар Косых, взял галету и съел ее под смех солдат.

Конечно, она нравилась Жене. Даже такая деланно развязная. И уйти от этого было невозможно. Но не вести же утонченный разговор, над которым все смеются. Хватит! Надо наконец быть женщиной!

— Пойдем за дерево, посидим? — вдруг предложил он, громко и развязно.

Она оторопела в первое мгновение.

— О, какой ты!.. Сразу в уголок... — И засмеялась, и вдруг пожалела его. — Ладно, ты не сердись, что я тебя тогда...

Он понял, что опять проиграл, и сказал все с той же развязностью:

— Ну что вы, я уже забыл давно. Слабый пол. Что с вас взять?.. — И пошел прочь.

— Эт-т-то потрясающе! — пробормотала она. Но как-то иначе, без лихости и высокомерия.

А что же Лешка Зырянов? Позабыл про обиду или утешился с другой родственницей? Не беремся судить. Вскоре один незначительный случай помог пролить свет на Лешкины душевные тайны.

Женя копал землю вместе с солдатами, надо было вырыть углубление для колес машины. Он бросал землю и поглядывал через плечо. Там хлопотала Женечка Земляникина, то показывалась в окошке фургона, то исчезала.

И вот тут-то Зырянов, перехватив Женин взгляд, сказал тихо и по-дружески:

— Слышь, ты к ней не лепись напрасно. Была б у тебя звездочка — другой разговор. Командир полка у нее, понял?

— Товарищ Караваев? — это спросил Захар Косых. Он спросил почтительно, без всяких намеков, просто уточняя факт.

— Так он же старый, — не поверил Женя.

— Хе-хе, — Лешка поплевал на руки. — “Два бойца” смотрел?

— А при чем тут это?

— Очень просто. — Лешка всадил лопату по самый черенок. — Полковник на киноартиста Бернеса походит. Одесса-мама. Понял?

— Нет, — Женя пожал плечами.

И словно подтверждая Лешкины слова, из-за машины показался полковник Караваев, который и впрямь был похож на популярного артиста, только был он немного старше одессита из фильма. И он прямехонько направился к Женечке Земляникиной, взял ее под локоток и о чем-то заговорил с ней, приторно улыбаясь. А она тоже улыбалась и кивала ему. Улыбалась!

“Эполеты, аксельбанты, галуны, кирасы, мазурки, тра-ля-ля, — с грустной иронией думал Колышкин. — Какие прекрасные сосиски!.. Вы знаете, они вам к лицу. Не желаете ли лососины? С повидлом. А может быть, марципаны? Или, например, трюфеля?.. Я вам открою некоторый текст слов: одиночный мужчина тоскует по ваших глаз... Я увезу вас к морю, потому что в Одессе имеются многих таких вещей, которых не обладают других городов...”

— Вот так, пацан, — горько заключил Лешка.

А потом лил дождь. Осенний. Затяжной. Машины остановились в полуразрушенной деревне. Женечка замешкалась в кабине и теперь боялась сойти с машины, которая всеми колесами утопала в яме с водой.

— Эй, ежики! — крикнула она и замахала руками.

Гвардейцы, спасаясь от дождя, стремительно бежали к домам.

— Эй, — снова крикнула она.

— Ничего, выберешься, — позлорадствовал Лешка, не оборачиваясь.

Но Колышкин не выдержал. Ну и что с того, что Караваем?

Он, Колышкин, выше всего этого. Надо быть мужчиной! И с решимостью рыцаря он бросился к ней, схватил ее на руки, словно спасал от смертельной опасности. Но, кажется, он переоценил свои силы и недооценил ее вес. Вода залила сапоги, ноги увязли, и не успел он сделать и двух шагов, как покачнулся, и если бы не подоспевший Захар, они упали бы оба. Захар подхватил Женечку как раз в тот момент, когда Колышкин мягко повалился в воду.

— У нас на лесозаготовках Капитолина в прорубь провалилась... Вот смеху-то было, — Захар поставил Женечку на твердое место и пошел догонять товарищей.

Женечка смеялась. Обидно, громко. Колышкин выбрался из воды и пошел мимо связистки, и был он похож на промокшего котенка. Она сжалилась и протянула конфетку:

— Держи, воин.

К чему это она? Неужели мало всего?

— Благодарю вас, — сказал он с нелепым достоинством, — я конфеты с детства не ем.

И гордо стоял под дождем. Теперь ему было все равно.

— А ты уже совсем взрослый, да? — подтрунивала она. — Это потрясающе! — И побежала к дому.

А он даже не взглянул ей вслед. “С меня достаточно, сударыня, — подумал с презрением, — я позабыл о вашем существовании, едва вы скрылись за пеленой дождя”.

Холодный ветер давал себя чувствовать, и Колышкину пришлось торопиться. Он бежал по пустынной деревне, промокший до нитки, продрогший, и ему захотелось солнца, и яркой зелени, и красных крыш... Распахнуть мушкетерский плащ, обнять друзей своих — Лешку, и Захара, и Ромадина. И он вообразил, что они тоже мушкетеры и тоже со шпагами. Но что это? Чьи-то крики? “На помощь!” Это женщина молила спасти ее... О, как он расправился с подлыми канальями! Нескольких уложил на месте, остальных обратил в позорное бегство. И когда распахнулась дверца кареты и вышла изумленная Женечка Землянкина в кружевах и шелке и благодарно протянула ему руку, он, небрежно склонившись, едва прикоснулся к ее холодной ладони и гордо удалился, не требуя благодарности. О, как она зовет его вернуться. Напрасно, сударыня!..

Изба была полна, когда Колышкин в ней появился. С потолка стекали струйки воды. И от этого, да еще от мокрых сапог на полу стояли лужи. Хозяйка вытирала пол, а вода все натекала.

— Мамаша, — сказал Захар, — инструмент не найдется? Крышу надо бы залатать.

— Сейчас, сыночек, — сказала она, отжимая тряпку.

А Женя тем временем стаскивал сапоги и выливал из них воду, словно из ведер. И с трудом унимал дрожь.

“Право, здесь райское местечко... Когда мы победим, я обязательно воспользуюсь вашим любезным приглашением, дорогая хозяйшюшка... Однако вы обещали познакомить меня с вашей очаровательной дочерью”. Так он думал от имени героя увлекательного романа, пробираясь к столу, за которым ужинали, и очень дрожал от холода. “Вальдшнеп? Сыр? Вино?.. О, благодарю вас... Ломтик холодной телятины и ром — этого достаточно. Я солдат, мадам...”

Но у стола его ждало горькое разочарование: все уже поели и попили кипяточку и начали расходиться и укладываться кто куда.

“Ну что ж, — подбадривал себя Женя, — чрезмерная пища расслабляет. Шпагу — на кресло, плащ — в гардероб, ботфорты — к камину... Так где же ваша очаровательная дочь?..

Et où est votre fille ravissante, madame?\*

Пока он парил в облаках, на земле не осталось и места, чтобы прилечь. Только под русской печью кончик узкой лавки, на которой примостился младший лейтенант Ромадин. Женя попытался пристроиться на корточках в ногах Ромадина, но младший лейтенант вытянул ноги, и Женя пришел в отчаяние.

— Лезь ко мне, у меня тепло, — послышалось с печки из темноты.

— А ты кто? — спросил Женя, трясаясь от холода.

— Лезь, какая разница.

— Обожди, — по-деловому сказал Колышкин, унимая дрожь, — я ноги вытру.

— Какая разница, — произнес тот же голос. — Лезь.

Колышкин взобрался на печь, за ситцевую занавеску, в духоту. Стал стягивать гимнастерку.

— Тебя как звать, пацан?

— Мария Андреевна, — ответил “пацан”. Женя замер.

— Ну, двинься ближе, чего ты? — зашептала Мария Андреевна и потянула его к себе. — Двинься, дурачок...

— Манька, — сказала хозяйка лениво, — смотри у меня...

— Тебя не спросила, — лихо ответила Манька и снова

---

\* Где ваша очаровательная дочь, мадам? (франц.).

потянула Колышкина к себе. — Ну двинься, чего ты?.. Ой, сердце-то у тебя как бьется.

— Пустите, — попросил он обреченно.

За занавеской происходила борьба.

— Да ты что, неживой, что ли?! — шептала Манька.

— Пустите, Мария! — потребовал Колышкин срывающимся голосом.

— Мария... Как же — Мария, — проворчала хозяйка презрительно. — Дура белобрысая, а не Мария... — И ушла в сени.

Колышкин свалился с печки, как с облаков. Загремела развалившаяся поленница. Проснулся Ромадин. Вошел Захар, покачал головой.

— Ну ты — ходок!

Косых улегся в самую тесноту, на пол. Растолкал мощными своими плечами товарищей, уже спящих.

— Ну-ка, маленечко... — распустил ремень, выдохнул и закрыл глаза блаженно.

Вот так просто растолкал и уже спит. Крышу починил. Не течет больше. И другим хорошо, и ему.

А что Колышкин? Привалился к двери. Сыро, дует из щели и некуда девать длинные ноги, хоть плачь.

Дивизион медленно продвигался по осенним дорогам. В кабине машины связи покачивалась на сиденье Женечка. Ее лицо маячило сквозь стекло. Оно покачивалось, наклонялось, словно Женечка все время здоровалась с Женей: “Здравствуй, здравствуй”. На каждом повороте, на каждом ухабе.

“А вы напрасно иронизировали насчет моего возраста, — думал Колышкин. — Мне уже девятнадцать. Да, девятнадцать. Через пять месяцев. А это не так уж мало, представьте... Уже пора, знаете ли... чем-то о себе... что-то после себя...”

— Захар, дай редисочки, — попросил сосед у Захара.

— Последняя, — сказал Захар и достал из кармана новую редиску и с хрустом откусил, и белый кружок в красном ободке закачался в его руке, словно диковинный осенний цветок.

А воображаемый спор разгорался.

“Что? — воскликнул Колышкин в душе. — Полковник — ваш супруг, а любить вы будете меня?.. Я понимаю — в прошлом... социальные условия... мадам Бовари...”

Так храбрится наш герой, бросая в глаза Женечке вызов оскорбленного сердца, и песенка, та песенка, что должна сопровождать титры, вдохновляла его:

Если правду прокричать вам мешает кашель,  
не забудьте отхлебнуть этих чудных капель,  
перед вами пусть встанут прошлого примеры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры!

Он подтянулся к Женечке, нащупал ее руку. Но это он, оказывается, задремав, потянулся к Захаровой редиске, к цветку... И получил щелчок. Было больно, пилотка свалилась в грязь.

— Ну чего... Чего лапами-то шарить! — разгневался Захар.

Женя спрыгнул с машины за пилоткой, а все хохотали. И Колышкин в сердцах вообразил собственную смерть, и как они все плачут. Рыдают. Все — и Лешка, и Захар, размазывая слезы по толстым щекам, и младший лейтенант Ромадин. Они рыдают, склонившись над фронтовой газетой, в которой — большой портрет его, Колышкина, в траурной рамке. И они, конечно, сожалеют, что были так несправедливы к нему. Рыдает Женечка, не сводя глаз с траурного портрета. И сам он, Женя Колышкин, с удивлением и тоской рассматривает свое изображение в газете, и слезы дрожат на его ресницах. “На моем мужественном лице — ни тени растерянности. В моих глазах — презрение к смерти. Это последнее ощущение. Я не чувствую ни страха, ни боли. Я сливаюсь с природой. Теперь можете смеяться, сударыня. Мне это уже глубоко безразлично”.

## Глава четвертая

*Повествует о том, что на войне бывает все, даже то, чего не бывает*

Был морозный рассвет. Цепочка “катюш” двигалась среди сверкающих снегов.

— ...Они вышли к берегу голубого моря под палящим солнцем, — рассказывал Женя. — И целая роща кокосовых пальм открылась их взору. “Райское местечко!” — сказал рыжий Джек, срезал у ореха верхушку и с наслаждением принялся пить прохладное молоко...

— Вот сука, — покачал головой Косых.

— Здоровый орех! — сказал Лешка. — Две пол-литры враз вмещает!

Колышкин сидел, как всегда, спиной к кабине, и ему хорошо была видна идущая за ними машина связи, а в ней Женечка в белой новенькой ушанке.

— Мы спасены! — воскликнула красотка Кэт, и слезы брызнули из ее голубых огромных глаз. Потом они построили в тени пальм легкие хижинки, — продолжал Женя, — теплые ветры доносили по вечерам запахи джунглей, и звуки прибой ласкали их слух...

Лешка захохотал, зажмурился, закрутил головой. Колонна остановилась. Эта была передовая. Уже видны были ходы сообщения, темные на белом снегу блиндажи. Среди полусожженных деревьев громоздились замаскированные машины, орудия, транспортеры. И было много военных, а еще больше следов на снегу, так что снега-то самого почти что и не было.

— Эй, — крикнул Мушегян, высунувшись из кабины. — Живы?

— Живы, — сказал Лешка, улыбаясь замерзшим ртом, и все попрыгали с машин, разминаясь и греясь на ходу.

Посреди роскошного немецкого блиндажа, где от изгнанных хозяев еще уцелели надписи на стенах, стояла елка с игрушками. Шел последний день сорок четвертого года. В блиндаже было пусто, и только Колышкин, получивший от Ромадина очередной наряд, старательно готовил помещение к празднику. Он скреб стол ножом и, пользуясь одиночеством, разглагольствовал вслух:

— Я выше ваших подозрений, сударыня... И вот вам моя рука... Ха-ха-ха...

А Женечка Земляникина в голубом платье по случаю наступающего Нового года, в полушубке внакидку стояла у притолоки и наблюдала с улыбкой за Женей.

Вдруг он почувствовал ее взгляд. Обернулся.

— С наступающим, ежик! — сказала она. — А ты — парень хозяйственный...

Ему снова почудилась насмешка в ее словах. Он погас, спросил с неприязнью:

— А почему вы всегда иронизируете?

— Что ты, что ты, мальчик. — Помолчав немного, она спросила как бы между прочим: — А правда, ты со мной во сне разговариваешь? Косых девчонкам рассказывал.

Колышкин не стал отвечать. Взял веник, тупо скреб пол в одном месте.

— Как интересно! — засмеялась она. Потом приблизилась. Уселась на нары. Сказала ухарски: — Ну, ты заглядывай. Посидим-покурим. Чайку попьем...

— Благодарю вас, — сказал Женя сухо, — я чай не пью.

— А, понимаю, — засмеялась она, — ты к спирту привык.

— Предпочитаю, — поддакнул он, стараясь сохранить тон бывалого солдата, — чаем с конфетками будем на гражданке баловаться.

И тут уединение их кончилось. Бесславно, в общем. Послышался шум, и в блиндаж ввалились гвардейцы. Многие были с посылками... И Лешка Зырянов, оценив обстановку, съязвил:



— Что, пацана охмуряешь?

— Да, — сказала Женечка, — а что?

— А я слышу, — громко сообщил Захар, — почтарь орет: “Колышкин, Колышкин...” А это нашему Колышкину посылка-то. — И улыбнулся плутовато.

Женя услышал. Бросился к дверям, чтобы успеть перехватить почтарей с посылкой, и растянулся на полу от подножки Захара.

— Чего нашел-то? — крикнул ему Захар.

Колышкин пошел на него, сжимая кулаки. Назревал скандал. Подошел вплотную и...

— Ну-ка посмотри, — сказал Захар с издевкой, — чего это у меня в глазу-то? — и подставил ему глаз, выворотив веко.

Женечка оттолкнула Колышкина, чтобы скандал не произошел.

— Давай дуй, чего ты?.. Может, что вкусненькое... Чайку поьем, как на гражданке.

Колышкин так и выбежал на мороз в одной гимнастерке. Пробежал до поворота траншеи. Остановился.

— Эх!..

Девчонки-санитарки крикнули со смехом:

— Может, догонишь! Они на передовую махнули. Километров семь, не больше!

А в это время в блиндаже каждый занимался своим делом.

Ромадин сидел у печурки и разглядывал фотографию брюнетки, и пламя играло на его лице, и оно улыбалось, и какие-то тайные мысли волновали младшего лейтенанта. Захар нарезал сало, полученное из дому, Лешка примерял перчатки так, словно это было самое необходимое на фронте.

А когда вошел удрученный Женя, Ромадин уже разглядывал другую фотокарточку. Размякнув под взглядом прелестной блондинки, улыбающейся ему с фотографии, он сказал, умиляясь собственной добротой:

— Колышкин, отправляйтесь к почтарям. Я разрешаю. Только в двадцать три ноль-ноль быть на месте.

— Ну естественно! — крикнул Колышкин, ликуя.

— Не естественно, а так точно, — по-отечески поправил его лейтенант.

— Виноват, товарищ гвардии младший лейтенант, — так точно, — радостно поправился Женя, бросаясь к выходу.

— Виноватых бьют и плакать не дают, — несколько устало и только для порядка строго остановил его Ромадин. — Идите.

— А спиртяга, спиртяга будет?! — заорал вслед Косых.

Колышкин забыл обиды. Он застегнул полушубок. Все-таки они прекрасны, его друзья.

— Мама обещала постараться, — сказал он и, обернувшись к Женечке, с очаровательной улыбкой: — А уж моя мама, знаете?..

Не станем описывать семикилометрового перехода Жени Колышкина от расположения дивизиона до передовой и того, с каким трудом удалось ему отыскать место, где расположились почтари! Скажем только, что было уже темно хоть глаз выколи. И это было похоже на чудо — найти почтарей в ночном хаосе снега, военной техники и ходов сообщения. Как бы то ни было, увесистая посылка была в руках нашего героя, и он вытер ладонью потное лицо и улыбнулся.

А почтари не улыбались. Одни спали, усталые после скитаний по фронтовым дорогам. Другие сидели и молча при свете копилки жевали холодную картошку с тушенкой.

Скудная порция спирта давно была выпита, и, казалось, почтари вовсе позабыли, что сегодня праздник, что через какие-нибудь два часа наступит Новый год. И Женя сорвал материю с ящика, поднял крышку, а там — бутылки. Он поставил одну перед почтарами. Празднуйте, веселитесь... Нельзя же так: у одних — все, у других — ничего. Почтари оживились, разлили водку по кружкам, и, как Женя ни противился, ему налили тоже.

— С наступающим, парень!

— Будьте счастливы!

Он почувствовал, как холодная жидкость обожгла изнутри, и через мгновение ему стало еще веселее, хотя и без этого все складывалось как нельзя лучше. Закрывая ящик, он заметил рядом с домашним пирогом конфеты в бумажках.

— “Клубника со сливками”! — прочел он с восторгом. — Те самые!..

Накрывали праздничный стол, зажигали огни на елке. Ромадин наконец посмотрелся на фотокарточку шатенки, которую, в отличие от других, спрятал в карман на груди, поближе к сердцу. Затем накинул полушубок, сказал Лешке Зырянову расслабленно:

— Кто спросит, я у майора... — Загадочно улыбнулся и вышел из блиндажа.

Зырянов долго смотрел на Женечку. Острословить не хотелось. Предпраздничное настроение внесло в движения и души мягкость, давно уже позабытую.

— Ты сегодня красивая. Огонь тебя освещает...

— Что это с вами сегодня? — удивилась Женечка. — Ну и Лешка.

— Я ведь давно на тебя смотрю, — сказал Лешка с грустью. Подсел, обнял ее за плечи.

— Лешенька, протри стекла. — Она мягко освободилась от его руки. — Была родственница — нет родственницы.

— Да какая там родственница! — крикнул он с отчаянием. — Ты что думаешь, я уж не могу всерьез?!

— Ничего я не думаю. — Женечка отошла демонстративно.

— Продали! — обиженно закричал с нар Косых. — Полдома Витьке продали! Эх, папаша... — И снова уткнулся в письмо.

— Слов у меня нет, чтобы ты поняла, — сказал Лешка, подходя к Женечке.

Она уклонялась от него, уклонялась едва заметно, но настойчиво. Вдруг подошел Захар, некстати потянул Лешку за плечо.

— Эх, задарма продали, слышь?

Зырянов схватил Женечку, крикнул в самое лицо:

— Может, я всю жизнь на руках тебя буду носить!

— Это у тебя темперамент? — усмехнулась она. — Сейчас сгоришь...

— Да ты прочти, прочти, — попросил Захар, тыча письмо Зырянову.

— Ну чего ты привязался! Ну чего! — рассвирепел Лешка.

— Так дом-то мой, — с сознанием абсолютной правоты, удивляясь Лешкиному гневу, прохныкал Захар. — Пятистенный, под железом, сам бревна ложил...

— Ну и хрен с ним! — процедил Лешка, чувствуя, что потерял Женечку, может быть, навсегда.

Женя боялся опоздать и спешил, стараясь сокращать обходы, увязал в снегу и снова выскакивал на лесную тропинку.

“Клубника со сливками”? Ваши любимые конфеты? Что вы говорите? Право, я не обратил внимания. Нет, нет, я ничего не писал маме. Это просто совпадение. Угощайтесь, сударыня!”

Часы показывали без одной минуты двадцать три. Женечка взглянула на двери.

А Женя Колышкин уже спрыгнул в окоп. В темноте едва проглядывали машины и повозки. Стоял ровный непрекращающийся гул. Летели искры.

Колышкин зашагал туда, где из щели пробивался свет. Его уже ждали: с двух сторон его подхватили под руки.

— Ой, щекотно! Ой, умру!.. Лешка, довольно!.. Захар!..

— Яркий свет ослепил его. Звучала музыка.

Он открыл глаза. Под ногами лежал пушистый, удивительно красивый ковер, покрытый белоснежной скатерью стол стоял посередине.

— С Новым годом! Вот она! — Колышкин торжественно поднял посылку и обомлел: за столом сидели...

**НЕМЕЦКИЕ ОФИЦЕРЫ!**

Они смотрели на Женю.

А он стоял между двумя здоровенными фрицами, застыв в неловкой позе.

Один из немцев что-то доложил, подошел к столу и поставил ящик перед недоумевающим полковником.

Полковник, вымуштрованный пруссак, полуобернувшись, о чем-то спросил по-немецки.

И кто-то сказал, тщательно выговаривая:

— Что есть это?

Наступила томительная тишина. Немцы внимательно смотрели на Женю, а Женя тяжело дышал и никак не мог понять, что же произошло.

Это был бред, тяжкий сон. Но почему так больно вывернуты его руки? Он попытался освободиться, но его сдавили еще сильнее. Все пропало! Конец!

— Что есть это? — снова повторил переводчик.

И вдруг Колышкин вытянулся, набрал воздуха в грудь и громко заговорил, не понимая, откуда что берется.

— Это... Это есть с Новым годом... Господа! По случаю Нового года мне поручено передать вам поздравления. Примите уверения и этот скромный подарок.

Переводчик перевел. Немцы очень удивились.

Полковник кивнул на ящик. Поднесли миноискатель. Потом с ящика осторожно сняли крышку, извлекли бутылки.

— О? — удивился полковник.

Немцы переглянулись: загадки русской души, рождественская сказка.

Полковник усмехнулся и достал из ящика пирог, конфеты “Клубника со сливками”.

— Ну вот, — грустно сказал Женя, — а теперь я пойду... — И направился к дверям, но два немецких унтера загородили дорогу.

— Нет уж, вы, пожалуйста... — начал Женя и замолчал.

Лица немцев были непроницаемы. Дверь распахнулась, и в блиндаж ввалился мордастый эсэсовец. Шинель внакидку. Видно, ему сказали про русского, и он прибежал сюда поскорее.

Эсэсовец что-то сказал полковнику. Женя не понял ни слова, а если бы он знал немецкий, ему пришлось бы содрогнуться.

— Тут что-то не так. Все вранье. Надо пристрелить его! — сказал эсэсовец.

И он полез за пистолетом, но полковник остановил его и о чем-то быстро, едва слышно заговорил. А тот кивнул и, встав, распорядился:

— Задержите Ивана! Напоите его хорошенько.

Женя, конечно, не понял. Его потащили к столу, а он сопротивлялся, как мог.

— Нет, нет, мне необходимо идти. Я опаздываю. Совсем не обязательно меня угощать.

Переводчик переводил, немцы хохотали.

— Шапка. Где моя шапка? — спохватился Женя, выпив то, что ему налили. — Мне надо идти. Нах хаузе. Меня ждут. Я есть сытый. Честное комсомоль... Мне достаточно. Я никогда столько не пил.

Так он отбивался, из последних сил стараясь показать, что он вовсе их не боится, потому что он парламентар, а парламентар они не имеют права... Не имеют?.. Смелея, Женя чувствовал страх и полнейшую незащищенность. Он не понимал, для чего его так долго держат за столом, что они затевают. Ему было горько от сознания своей вины перед друзьями.

Когда до двенадцати оставалась минута, переводчик похлопал его по плечу...

— Нишево, встретишь Новый год берлинское время.

Женя вдруг возмутился и произнес вызывающе:

— Шнапс, битте... — И сам налил себе и выпил. — Я привык, знаете ли, по-московскому. Ничего не поделаешь...

В нашем блиндаже сидели кто где. Новый год уже встретили, спирт выпили, танцевали под патефон. Женечка волновалась за Коляшкина. То и дело выскакивала из блиндажа и снова возвращалась в тревоге. Захару захотелось развеять ее грусть, и он сказал искусственно бодро:

— Пропал пылеглот. Срубали его волки вместе с посылкой. — И засмеялся собственной шутке.

— Да хватит тебе! — оборвала его Женечка.

— Ну вот, — обиделся Захар.

Вернулся солдат из караула. Она — к нему. А он покачал головой, развел руками.

— Нет, с ним определенно что-то случилось, — сказала она, глядя на часы.

А Лешка наблюдал украдкой за ее волнением, досадовал, мучался и курил папиросу за папиросой.

Что поник, Коляшкин? Не знаешь, чем кончится для тебя эта новогодняя ночь? Поверили ли немцы твоей выдумке? И вообще, удастся ли выбраться из этой кошмарной ситуации?

Женя опьянел. И все его тревоги теперь существовали как бы не в нем самом, а где-то рядом, будто все это случилось не с ним, а с кем-то другим, в какой-то книжке. Он старался изо всех сил

сохранять подобающую парламентару осанку, но это не всегда ему удавалось.

Переводчик — теперь Женя хорошо разглядел его аристократическое лицо — был почти ровесник Колышкина. Он все время наблюдал за “гостем”, и Женю раздражали в нем надменность и оттенок некоторого превосходства. Когда немец, налив новую рюмку, сказал: — Пей, Иван! — Женя не выдержал:

— Благодарю вас, мне достаточно, фриц.

Переводчик вспыхнул, но сдержался.

— Я не есть Фриц, я есть Зигфрид.

— А я есть Евгений, Женя.

И тогда Зигфрид, отдав должное храбрости и достоинству русского, сказал примирительно:

— Ешь, Эвгений.

Все это не укладывалось ни в какие рамки. Женя засмеялся и воскликнул:

— Нет, кто бы мог подумать! Гостеприимство... И внешность у вас обыкновенная, человеческая. Как ни странно.

Зигфрид улыбнулся Жениной пьяной наивности. Немцы пели хором детскую песенку про елочку. В углу какой-то пожилой фриц сморкался и вытирал глаза платком.

Глаза Зигфрида подобрели. Он задумался о чем-то своем.

И Жене вдруг захотелось помочь этим заблудшим. Это казалось так просто. Ведь люди же они, в конце концов!

— Послушайте, — сказал он Зигфриду, — вы им объясните, ведь это же глупо, бессмысленно... Вы же понимаете, что ваше дело... сами понимаете... Зачем же усугублять?

Зигфрид слушал грустно и рассеянно. Надменность исчезла. Он что-то хотел сказать, но только тяжело вздохнул. А Женя разошелся:

— Вы слышали про Ялтинскую конференцию? — Мысли его путались, но он все хотел высказать самое главное. — Вот я живу на Арбате, возле зоомагазина. Знаете, это от площади...

Договорить ему не пришлось. Вбежал мордастый эсэсовец и что-то пролаял.

— Возьми это, — перевел Зигфрид. — Быстро. Это наш подарок... Здесь — пить, кушать. Только осторожно: там стекло.

Женя увидел ящик, перевязанный голубой лентой с аккуратной надписью:

“К НОВИМ ГОД!”

Так вот оно что! Они готовили посылку. Как все это нелепо и непохоже на правду.

— Ты понял? — спросил эсэсовец.

— Найн, — неожиданно для себя ответил Колышкин.

Ему вдруг стало неловко за свой обман. Они поверили ему и вот посылают в ответ настоящий подарок.

— Господа, это, право, излишне. Это нечестно... Это даже как-то неприлично... Мы — вам, вы — нам. Нет, как хотите, я этого не возьму, не возьму, и все!

Эсэсовец рывкнул и так взглянул на Колышкина, что тот понял: придется взять.

Провожали его со всеми почестями, какие подобает оказывать парламентарю. И Женя шел и все недоумевал, никак не мог поверить в реальность происходящего. Мордастый эсэсовец шагал за ним, и он слышал его пьяную одышку и ждал: вот сейчас этот тип достанет пистолет... Но его ловко подсадили на бруствер, подали ящик, перевязанный лентой, и ракета показала направление пути.

— Ауфвидерзеен, — сказал Женя и в последний раз при свете ракеты увидел грустные глаза Зигфрида. Ему показалось, что тот кивнул ему едва заметно и даже улыбнулся.

Может, он понял намек Жени и при удобном случае сдастся в плен? Женя пожалел, что не узнает судьбы этого симпатичного человека, так жестоко обманутого фашистами.

Он бежал через поле по тропке, а ракеты все взлетали, и никто не стрелял — ни немцы, ни наши. Когда Колышкин нырнул в лесную чащу, ему стало весело и легко. Как бы то ни было, он перехитрил врага, он жив, да еще — трофей! Правда, “Клубника со сливками” погибла, но зато как удивятся его друзья, как удивится Женечка, когда он расскажет им, где побывал, как счастливо отделался, и покажет им ящик с голубым бантиком!

## Глава пятая

*Повествует о том, что иногда даже чистая правда может показаться ложью*

Колышкин добрался до своих, когда встреча Нового года была уже в прошлом. Он услышал в темноте голоса: говорили о нем. Он притаился. Это были Ромадин и Женечка.

— А может, его фрицы схватили? — беспокоилась она.

— Да какие там фрицы! — отмахивался Ромадин.

— Ну, а если?

— Ну, а если... — Ромадин помолчал, — штрафрота давно по нем плачет.

— Нет, нет, не может быть, — заторопилась она. — Он просто заблудился!.. Что вы!

И голоса удалились.

Колышкин глянул на ящик, на эту бесспорную улику его преступления, и содрогнулся. “Где вы встречали Новый год? — спросит Ромадин. — У фрицев?.. Ах, у фрицев. И подарочек с ленточкой, да?.. От них? А за что?..”

Кретин! Как он не подумал об этом раньше!

Прячась от часового, Колышкин отполз от окопа и закопал ящик под елкой.

Никто не заметил, когда он появился. Колышкин стоял в блиндаже, прислонившись к столбу, прикрыв лицо ладонями.

Тут и обнаружила его Женечка.

— Господи, — вскрикнула она, — наконец-то!

И Захар подскочил и радостно затанцевал вокруг Колышкина, обшаривая его:

— А-а-а, спиртяга, спиртяга... А где ж спиртяга-то?

— Оставьте меня в покое, — с пьяной грустью сказал Женя.

— Чего? — не понял Захар.

— Ну чего пристал к человеку? — Женечка оттолкнула Захара. — Значит, нету...

— Как это — нету? Как это — нету?! — расшумелся Захар.

— Конфет нет, — пролепетал Колышкин обреченно, — посылки нет, ничего нет. Финита ля комедия... — И уселся на нары.

— Что, притырил посылочку? — не унимался Захар. — Притырил? Накрылись твои конфеты, Земляникина, он их другой бабе скормил...

— Да погоди ты, Захар, — сказала Женечка и строго Колышкину: — Ты где был?

Колышкин поднял на нее умоляющие глаза.

А она смотрела строго, с недоумением. И все вокруг осуждали его.

А если она поверит Захару? Молчание становилось тягостным. И тогда он сказал решительно, словно бросился в холодную воду:

— Посылку съели немцы!

Захар загоготал громко и обидно. А потом рассвирепел:

— А может, медведи белые?!

Женечка махнула рукой, надела ушанку и собралась уходить.

Колышкин вскочил, покачнулся.

— Ну хорошо, — произнес он патетически. — Пускай! Идемте! Сейчас увидите... Идемте...

Ромадин посмотрел на часы. Было почти два. Кто-то из офицеров заметил:

— В два часа у фрицев Новый год.



Ромадин вышел из блиндажа, пошел по траншее и выбрался на тропинку, только что проложенную Колышкиным. Около елки он остановился и почему-то взглянул на светящийся циферблат. Минутная стрелка подползла к двенадцати.

Едва он зашел за елку, что-то сверкнуло, ухнуло, и снег обрушился на Ромадина. Он опрокинулся, и в его сознании мелькнуло: “Минометный обстрел! Чуть не накрыло!” Он попытался выбраться из-под снега, но это оказалось не так-то просто.

К елке подошла ватага во главе с Колышкиным, который внезапно на глазах у всех куда-то исчез.

Очувтившись на дне громадной воронки, Женя не понял, что же произошло.

— Извиняюсь, нету? — съязвил Захар и крикнул: — Брехло!

— Колышкин, — слышался слабый, размягченный голос Ромадина.

Младший лейтенант был убежден, что ему пофартило. А это Колышкину пофартило. Потому что младшему лейтенанту и в голову не могло прийти, что его солдат закопал под елкой немецкий “подарок” — мину с часовым механизмом. Он знал только, что хорошо отделался, и потому, увидев пропавшего без вести солдата, обрадовался и сказал почти ласково:

— Колышкин, а мы думали, вы к фрицам попали.

— Я к фрицам попал, — сказал Женя уныло, и все засмеялись. В том числе и Ромадин.

Он лежал на нарах лицом в овчинный полушубок. Женечка стояла над ним, пытаясь хоть как-нибудь облегчить его страдания.

— Ну чего скис? Тебя Захар заводит, а ты...

— Плевать, — сказал Женя.

— Меня у полковника угостили... — сказала Женечка. — Подумаешь, конфеты...

— Плевать...

Она рассердилась.

— А чего это ты расплевался?

— Меня успокаивать не надо, — огрызнулся Женя. — Может, кто-то другой в этом нуждается. Тот, кто вас ждет... с конфетами...

Сказал и испугался. Но она расслышала. Взгляд похолодел.

— Что? Что ты сказал?

— Что?

— Ты что сказал?

— Что?

— Что-то про полковника, — безжалостно помогла она.

— Что? — растерянно и трезвее спросил он.

— Нужен ты очень, — почти крикнула она, добивая. — Подумаешь, ценность большая!.. — И пошла прочь.

Он, словно и не был пьян, резво так вскочил со своих нар, схватил ее за руку:

— Не уходите!.. Я сказал гадость. Ударьте меня, только не уходите.

Она была выведена из себя и мольбы его не приняла.

— У тебя бред, мальчик, — сказала с презрением. — Это пройдет. Просто, кроме меня, здесь никого нет... — И ушла.

— Нет, ты понял? — с недоумением сказал ему Захар и стал раздеваться. — Разыграл ее пылеглот, — смеялся он. — Ну и правильно. Пускай ее там другие кормят. А мы и сами рубанем. — И вдруг заговорщически: — Куда посылочку притырил? — И снова захохотал: — Пускай ее там полковники...

Кольшкин с размаху ударил его по щеке. Терпение кончилось.

— Ты чего?! — взревел Захар, и тотчас Кольшкин упал от его могучего удара.

В блиндаже засмеялись, еще не понимая, что идет драка. Женя, нелепо размахивая кулаками, бросался на Захара.

— Ну ты смотри, ты смотри! — кричал Захар. — Я тебя грамоте-то выучу! — И снова ударил Кольшкина. — Пулеглот!..

Кольшкин опять бросился на Захара и замолотил его слабыми своими кулаками.

— Ну ты смотри! — удивился Захар. — Как клещ прицепился! Ну ровно клещ!

Их бросились разнимать, с шумом, с криками. Кольшкина потащили из блиндажа, потому что он не чувствовал ничего, рвался на кулаки Захара.

— У нас на лесозаготовках, — сказал Захар, трогая щеку, — с такого враз сучки посбивали бы.

Он не заметил, как Кольшкин вернулся, и прямо с ходу ударил противника ногой.

— Ну ты смотри! Ты смотри! — удивленно и даже обиженно крикнул Захар и так толкнул Кольшкина, что тот отлетел в дальний угол блиндажа, прямо на спящего солдата.

— Что, немцы?! — вскочил солдат, протирая глаза.

— Свои! — ответил Захар, отдуваясь.

Женя после драки кулаками не махал. Он смотрел на свои кулаки, и в голову лезла всякая всячина:

“А что, если смешать керосин с персиками или розы с гуталином? Двухэтажные нары? — очень удобно. Наверху — умные, внизу — счастливые... Неси свой крест... Несу, несу, успокойтесь, сударья. Зимой нет ни мух, ни комаров, ни кузнечиков... А я есть всегда... Разговор еще не окончен...”

Очень хотелось пить. А воды не было.

Тут вошел Лешка с чайником в руке.

— Что, спиртыга? — тихо спросил Захар и пошел к своему месту. — Сейчас... — вытащил сверток, оттуда — кусок домашнего сала.

Они выпили спирту. Закусили.

— Еще пожалеет, — грустно сказал Лешка о Женечке.

— Сам первый меня по морде, — пожаловался Захар.

— Все правильно, — рассеянно отозвался Лешка, продолжая думать о ней.

— Чего это? — не понял Захар. И вдруг увидел, что Женя пьет прямо из чайника.

Женя отхлебнул и зашелся в кашле. Думал, что вода.

— Поди проспись, пацан, — рассердился Лешка, вырывая у него из рук чайник.

Женя послушно отошел, слегка покачиваясь.

И вдруг вошел Ромадин. Перевязанный, веселый... и потянул руку к чайнику.

Захар в ужасе поглядел на Лешку и быстрым движением убрал чайник со стола.

— Товарищ гвардии младший лейтенант, а вы на лесозаготовках никогда не были?

— Давай воду, — потребовал Ромадин.

Лешка перехватил чайник.

— Позвольте, я воду сменю. Грязная. Как бы не пронесло...

— Сойдет. — Ромадин взял чайник и подставил кружку.

— Болотом отдаст, — потерянно сказал Леша. — И еще чем-то.

— Сойдет, — Ромадин поднес кружку ко рту.

— Товарищ гвардии младший лейтенант, — сказал Колышкин, пьяно икая, — вы же не пьете...

Ромадин засмеялся шутке. Уж этот Колышкин! И отхлебнул.

И задохнулся. Беспомощно шарил по столу в поисках воды.

— Ну вот, — протянул ему котелок с водой Колышкин. — Товарищ гвар... мла... лейтенант, после войны через Москву будете проезжать, позвоните, я вас со своей собакой познакомлю...

— Колышкин! — застонал Ромадин. — Вы у меня добьетесь!

Если б на этом закончились новогодние зловещие Колышкина, можно было бы вполне удовлетвориться той милостью, с какой судьба обошлась с нашим героем, однако новые события повлекли за собой поистине роковую цепь пагубных поступков... Да не покинет нас надежда на благополучный исход, какие бы испытания ни выпали на долю нашего героя!

Капли Датского короля или королевы —  
это крепче, чем вино, слаще карамели  
и сильнее клеветы, страха и холеры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры!

## Глава шестая

*Повествует о том, при каких обстоятельствах в нашем герое  
воспылало чувство ревности и как к этому отнеслась сама  
виновница*

Как ни старался Колышкин вспомнить впоследствии, что произошло с ним на рассвете первого дня Нового года, это ему не удалось. В его памяти мелькали смутные обрывки событий, но общей картины не возникало. Лешкин спирт доконал и без того немало выпившего у немцев (а до этого — у почтарей), совсем не привычного к вину Женю, и после восклицания Ромадина: “Вы у меня добьетесь!” — Женя улегся покорно на нары и в то же мгновение перестал что-либо слышать и ощущать.

Едва он заснул, как раздался сигнал тревоги. И всех словно ветром выдуло из блиндажа. И через несколько минут дивизион ринулся в атаку на немецкую часть, очутившуюся в непосредственной близости от реактивных минометов. Поднялась перестрелка. Гвардейцы короткими перебежками приближались к врагу. И тут среди них появился Колышкин. Еще не успевший отрезветь, он лихо размахивал автоматом и рвался вперед, на выстрелы.

Не станем подробно описывать, что пришлось испытать младшему лейтенанту Ромадину из-за Колышкина, который вскакивал, когда все залегли, и ложился, когда другие поднимались для очередной перебежки. Все главные события произошли после успешного боя.

Колышкина обнаружили в снежной воронке. Он лежал, уткнувшись лицом в снег, беспомощно раскинув руки. Кто-то бросился за санитаром, кто-то перевернул безжизненное тело. И Захар Косых почтительно и скорбно обнажил голову.

— Доброе утро, — неожиданно сказал Женя с пьяной приветливостью и тоже стянул с головы шапку.

Захар, оскорбленный в своих лучших чувствах, в сердцах нахлобучил шапку.

Когда прибежали санитары, Женя был уже на ногах. Он шагнул, чтобы поднять соскочивший валенок, как вдруг увидел

на пригорке грузную фигуру полковника, а рядом с ним — ее, Женечку Землянику! И началось!

— Я требую, — закричал Женя вызывающе громко, — чтобы господин Онегин мне объяснил свое гнусное поведение!..

Он карабкался на пригорок, растрепанный, без полушубка, так и не успев натянуть валенок, который он держал в руке. Ромадин обмер и коршуном налетел на Колышкина:

— Колышкин, отставить!

Женя вырывался из его рук:

— В конце концов пора как мужчина с женщиной!..

Женечка заметила, что внизу происходит неладное, и старалась, как могла, отвлечь полковника. А Колышкин, отдирая ладонь Ромадина, кричал:

— Вы что думаете, если вы полковник, вам все можно, да?!

Поединок рассудит нас. Сатисфакция!..

Ничего не подозревающего полковника подхватил майор Мушегян и увел от скандала, многозначительно погрозив Ромадину.

— ...Бежите?! Трус! — крикнул Колышкин вслед Караваеву.

— Отставить! — отчаянно, из последних сил закричал Ромадин и от неловкого Жениного взмаха скатился с горки вниз головой под хохот солдат. Колышкин скатился следом.

— Будьте моим секундантом, — сказал он и поцеловал Ромадина.

Стало холодно. Женю знобило. Он открыл глаза, огляделся. И ничего не понял. В захламленном помещении валялись обрывки немецких газет. Женя испугался, кинулся к окну и увидел широкие сапоги, приклад автомата: его охраняли!

Он кинулся к двери. Посмотрел в щель. От сердца отлегло: возле дверей, привалившись всем телом, спал Захар Косых.

— Захар, — прошептал Колышкин, поеживаясь. — А, Захар!

Косых поводил щекой по стене, сладко почмокал, но не проснулся.

— Захар! — сказал Колышкин. — Выпусти меня. Я почему-то в сарае очутился...

Захар приоткрыл один глаз.

— Видно, щеколда упала, — сказал Женя, трясаясь от холода.

— Пить хочется. Просто спасенья нет...

— Ну, чего тебе? Чего? — проворчал Захар. — Сидишь и сиди...

— Да я пить хочу! — рассердился Колышкин. — С чего это мне вдруг в сарае сидеть!.. Я пить хочу!

Захар сказал, не раскрывая глаз:

— С такого перепою рассол помогает.

Женя вдруг все вспомнил. Рот разинул, голову втянул в плечи.

— Значит, меня сюда...

— Значит, — подтвердил Косых недовольно. — А я вот тебя карауль.

— А дальше? — спросил Колышкин.

— Ну, чего привязался! “Дальше”, “дальше”. Теперь тебя в штрафную отправят... Допрыгался. Больно грамотный.

— Дай воды. Дай воды... Я пить хочу!

— Нет у меня воды, — сказал Косых, засыпая.

— Воды! — крикнул Женя. — Выведи меня!

— Куда еще? — заворчал Косых.

— Воды дай!.. Дай воды! — закричал Колышкин и стал трясти дверь, и весь сарайчик зашатался. — Воды!.. Выведи меня!.. — Женя вошел в раж. — Воды!.. Открой двери, не то вышибу! Воды! Свободы!!! Тюремщик!

Косых испугался. В окне появилось широкое его лицо.

— Ну, чего ты! Чего? Чего шумишь?

— Воды, — совсем спокойно сказал Колышкин. — И зрелищ...

— Чего?

— На двор мне надо, — сказал Женя. — Понятно?

Захар, озираясь, пошел к кирпичному зданию. Потом наступила тишина, и в проеме окна возникла жестяная кружка, из которой шел пар.

— Белая горячка, — со страхом сказал Женя. — Я брежу...

— Нет, — прошептал голос, и кружка придвинулась к самому его лицу.

— Что это? — спросил он.

— Это чай, — ответил голос, и Колышкин увидел Женечкино лицо в сиянии золотом. — Пей... Очень хорошо помогает.

— А-а-а, — сказал Колышкин грустно. — Это вы?

Она приложила палец к губам:

— Тсс... Никакого Онегина не было...

— А как же?..

— Тссс! Пей! — Она улыбнулась и исчезла.

Колышкин глотнул и зажмурился от счастья.

— Разве это возможно? — спросил он.

Но никто не ответил.

Косых потормошил спящего лейтенанта за плечо. Ромадин застонал и всхлипнул во сне.

— Товарищ гвардии младший лейтенант... А товарищ гвардии... Да товарищ же младший лейтенант!

— Что случилось? — спросил Ромадин, не открывая глаз.

И вдруг вскочил. — Немцы?!

— Колышкин на двор просится...

— Косых, — вздохнул Ромадин, — мы не спали трое суток... Я сказал: "будить меня только по тревоге". Какого черта!.. — И он улегся снова.

— Колышкин на двор просится, — повторил Захар.

— А я тут при чем? — засыпая, сказал Ромадин. — Ну, выведи его... выведи... Вы-ве-ди... и покажи... — И снова уснул.

Женя шел под конвоем и искал место. Он свернул за угол сарая, Косых — за ним. Женя остановился.

— Может быть, вы позволите без свидетелей?..

— Чего? — не понял Косых.

— ...Сделать свои дела... — сказал Колышкин.

Косых остановился.

— Ну, валяй. Только ты недолго.

— А это уж как получится, — отрезал Колышкин и скрылся за углом.

Он стремительно прокрался к кирпичному зданию, подбежал к узкому распахнутому окну.

— Женечка, — позвал он шепотом. Она высунулась из окна. — Вот он я.

— Ну, здравствуй, здравствуй, — засмеялась Женечка. — Чего это ты на месте стоишь?

— Тороплюсь, — сказал он, подпрыгивая на одном месте.

Женечка исчезла, потом показалась вновь. Протянула ему телефонную трубку.

— Это зачем? — удивился он,

— Тсс... Тяни за собой. Ну, тяни. Увидишь...

Он помахал ей и побежал к сараям. За ним тянулся черный телефонный кабель.

Косых стоял на месте, постукивая сапогом о сапог.

— Долго ты, — сказал он, увидев Женю.

— Как умею, — сказал Колышкин.

Он шел с Захаром, пряча трубку за спиной. Черный кабель висел по снегу.

— Нахлестался, — ворчал Косых. — Пить не умеет, а берет-ся... Стереги тут тебя...

— Я лицо важное, — сказал Колышкин, — мне без охраны нельзя. — Он засмеялся. — А для тебя это большая честь — меня охранять. Да?..

— Иди, иди... — сказал Косых. — Иди, давай. Умник. Тебя б на лесозаготовки...

Колышкин устроился в сарае с комфортом: в левой руке —

кружка с недопитым чаем, в правой — трубка полевого телефона. Кабель змейкой струился в дверную щель.

— Ну как, слышно? — спросил Женечкин голос.

— Женечка! Я вас слышу... А ты меня слышишь? Вы меня слышите?

— Конечно, слышу, — сказала Женечка. — Ну, давай поговорим...

— О чем?

Трубка молчала. Потом Женечкин голос произнес:

— Видишь, до чего техника-то дошла? Может, тебе еще чаю принести?

— А у меня есть. Совсем теплый. Бальзам. — И Колышкин засмеялся. — Женечка, — сказал он, — ну вот, видите... вот видишь, как оно все получилось? Теперь меня в штрафную отправят.

— Да брось ты... Уладится. Подумаешь — губа. У меня в сорок третьем тоже такое было!.. Это в тылу, на формировании. Мы с девчонками на танцы рванули, в самоволку, а тут как раз проверка, представляешь? И ничего — обошлось... Хочешь, я тебе поесть принесу?

— Я увидеть тебя хочу, — сказал Женя.

— Что? — спросила Женечка.

— Я лицо твое увидеть хочу!

— А чего тебе мое лицо? — спросил Косых. — Выйдешь, насмотришься...

Захар пытался просунуть голову в узкое окошко. Он уж и на носки становился и подпрыгивал — ничего не получалось. А из сарая доносилось неясное бормотание Колышкина, и оно раздражало и тревожило Захара.

Вдруг голос Колышкина отчетливо произнес:

— Я увидеть тебя хочу, слышишь?.. Хочу, и все...

— Да я ж в окошко просунуться не могу, — жалобно, ничего не понимая, сказал Захар.

— Сейчас сарай в щепки разнесу, хочешь?! — спросил Колышкин, и Захар услышал его приглушенный смех.

— Ты что, спятил? — Захар на всякий случай отошел от окна.

— Ради тебя, хочешь? — донесся голос Колышкина.

— Грамотный больно, — сказал Захар. — Чего ради меня-то? Ну, чего? Чего ты разошелся?! Сидишь и сиди!!

— Я виноват перед тобой, — говорил Женя в трубку. — Так виноват...

— Оба погорячились, — сказал Захар, — с кем не бывает.

— Нет, ты не говори, — спорил Женя с трубкой. — Это я виноват, я...

— Да ладно, — совсем растаял Захар. — Я ведь тоже не сахар.



Пошел снег и выбелил двор, но ненадолго. Въехали грузовики, и все пришло в движение. Забегали солдаты. Показался Мушегян в сопровождении офицеров. Подбежал Ромадин.

— Товарищ гвардии майор, кому арестованного сдать?

— Какого арестованного, Ромадин?

— Колышкина... который мертвым прикинулся.

— Колышкина, Колышкина... — Мушегян был не в духе. —

А кто его к награде подсунул? Не ты?

— Так это ж когда было... — Ромадин едва поспевал за майором. — Он парашютистов в лесу обнаружил, и я ходатайствовал.

— Одной рукой награждаем, другой сдаем, — поморщился Мушегян, — орден мы на него получили. И на тебя тоже. Вот за тех самых парашютистов.

Ромадин поощрениями не избалован: как начал войну младшим лейтенантом, так и остался младшим. Вечные истории в его взводе портили ему военную карьеру, и на груди младшего лейтенанта побрякивали лишь гвардейский значок да пара медалей. Не густо. Но с другой стороны — Колышкин, разгильдяй Колышкин останется безнаказанным!.. Чувство долга взяло верх.

— А как же?.. — промямлил Ромадин. — Колышкин на товарища полковника кидался. Я буду ходатайствовать...

Мушегыан раздражал этот затянувшийся разговор, и он сказал:

— Ну правильно, награждение придержим.

— Совершенно согласен, — обрадовался было Ромадин.

— Вместе с твоим орденом, — отрезал Мушегян беспощадно. Вот так все и обошлось для нашего героя.

## Глава седьмая

*Повествует о том, как превратности военной судьбы различили нашего героя с Женечкой Землянкиной и как неоднократно откладывалось их долгожданное свидание*

Снег усилился. Появился ветерок. И снежинки закружились. Солдаты подтаскивали к машинам тяжелые ракеты.

— Держись, пулеглод, — посмеивались над Колышкиным.

— Теперь Ромадин тебя так облобызает — не обрадуешься!..

— Насчет фрицев это ты зря загнул, — заметил Лешка Зырянов. — С перепоею такое померещится, что ты-ы-ы!

А Женя не спорил. Может, и впрямь померещилось, может, и впрямь “загнул”... Он здесь, среди своих, и Женечка близко, а это — главное.

Ах Колышкин, Колышкин, если бы ты знал, что всего лишь через мгновение все переменится.

— Смотрите, братцы, — сказал Лешка, — Земляникиной-то лимузин подкинули!

И в самом деле, возле машины связистов стоял штабной “виллис”, и незнакомые офицеры вместе с Караваевым окружили Женечку.

— В штаб дивизии переводят. Чего ей с нами-то? — Не забыл обид Лешка, не мог ей простить... — Пускай уезжает штабная крыса.

— Не смей! — крикнул Женя с болью.

— Чего-о-о? — глаза Лешки посвинцовели.

— Я тебе лицо набыю!..

Захар Косых инстинктивно посторонился, а Лешка схватил Женю за грудки.

— По машинам! — крикнул Ромадин.

— Твое счастье, сопляк, — сказал Лешка, остывая, и пошел к машине.

Гудели моторы, сновали люди, машины, на ходу выстраиваясь в походный порядок, покидали усадьбу. Женечка там, вдалеке, о чем-то просила Караваева, умоляла, но ей приказали, и вот так, ни с кем не простившись, она промчалась в штабном “виллисе”, только успела крикнуть:

— Эй ежики! Ежики-и-и!

И исчезла в снежной мгле... Она уехала в одну сторону, а Женя — в другую, к фронту.

Уж таял снег, вспухла земля, и грязь лежала по дорогам. Война шла по немецкой земле. У здания штаба дивизии вытаскивали буксующую легковушку.

Женечка примостилась в кузове грузовика на мотках кабеля, читала письмо от Колышкина. Холодный ветер рвал листки из рук. Она подняла воротник, нахохлилась, улыбалась удивленно.

Тяжело подкатила по грязи штабная машина. Из нее вышел красавец капитан, довольный сам собою.

— Женечка, — непринужденно позвал он, — слышали? Наши в Австрии. Чур, венский вальс за мной.

Она кивнула, не поднимая головы.

— Да или нет? — спросил капитан, всходя на крыльцо штаба.

— Да... или... нет... — механически повторила Женечка и продолжала читать и удивляться.

Подруга-связистка взобралась в кузов, спряталась от ветра.

— Насытилась?

— Нет, ты подумай, — сказала Женечка. — Вот ведь ежик...

Разыскал.

— Шутник, — сказала связистка, закуривая.

— Только вот не могу вспомнить, какие у него глаза, — сказала Женечка. — Все помню, а какие глаза — не помню. Вспоминаю, а вспомнить не могу...

— Ты давай лучше шмотки таскай.

— Худенький такой, — продолжала Женечка, словно и не слыша ее. — Совсем мальчик.

— Дурочка, — засмеялась связистка, собирая вещи в кузове, — других, что ли, мало?

— А другим-то другое нужно, — сказала Женечка.

— Что нужно?.. — спросил красивый капитан, усаживаясь в машину.

— Помочь нужно, товарищ капитан, — игриво заметила связистка. — Вы бы женщинам-то помогли.

Он несколько растерялся. Разочаровался даже. Развел руками, мол, рад бы, да дела. И укатил в черном штабном лимузине.

Снег стаял. Фронт катился на запад, и вот однажды дороги Колышкина и Земляникиной пересеклись. Это случилось в тот день, когда войска вырвались к морю. По песчаным дюнам сбегали к прибрежной кромке солдаты и офицеры и стреляли в воздух из автоматов, пистолетов, карабинов. Перемешались части, люди и техника.

Женечка бросилась к берегу, где, почти касаясь колесами волн, останавливались зачехленные “катюши” бывшего ее дивизиона. Девчонки-связистки бежали за ней к штормовому морю.

— Земляникина! — услышала Женечка. Ей махали руками знакомые солдаты. Она подбежала, вглядываясь в лица, всматриваясь лихорадочно: он-то где?..

— Ежик!.. Как жизнь?! — крикнула, стараясь перекричать грохот пальбы и прибоя. А сама все смотрела по сторонам.

Колышкин меж тем, не подозревая, что она может оказаться здесь, прошел за машиной к воде. Поднял золотистый камешек. Янтарь! Повертел в руках, счистил песок.

— Здравствуй, Лешенька, — крикнула Женечка, подходя к машине.

— Не забыла, как звать, — грустно засмеялся Лешка, — Надо же!

— Идем, пора, — толкнула Женечку подруга. — Машины сигналият.

Женечка лихорадочно смотрела вокруг. Колышкина нигде не было. Кто-то, поняв ее волнение, посочувствовал:

— И куда смылся?.. Сейчас только здесь был...

А в это время Колышкин рассматривал стеклянный поплавок в веревочной сетке. Что-то неестественное было в этом зеленом кухтыле, похожем на школьный глобус. Солдаты столпились вокруг, трогали шар с любопытством.

Ей пора было возвращаться, бежать, но она еще надеялась, ждала и медлила.

И вдруг крик:

— Земляникиной!

Это Захар Косых приближался к ней с улыбкой.

— Здорово, Захар, — сказала Женечка. И опять оглянулась в тоске. А Лешка понял, кого она высматривает, и отвернулся.

— Леш, — протянула Женечка, лишь бы выгадать еще мгновение. — Вы куда сейчас?

— Все туда же, в логово, — сказал Лешка.

Она поняла, что говорить с ним сейчас невозможно: он все время будет напоминать о себе. И побежала по дюнам вверх, к машине.

— Слышь, — крикнул вслед Захар. — А точно говорят — одной бабе генерала присвоили?

— Точно, — засмеялась Женечка.

Но Захар говорил всерьез.

— А лампасы-то куда ж ей пришьют?

Она в последний раз глянула на берег, а там солдаты, солдаты, солдаты...

— Может, увидимся! — Она помахала рукой.

— В Берлине! — ответил Захар неистово.

Кто-то подскочил к Колышкину, вырвал поплавок из рук, крикнул с горечью:

— Что ж ты, понимаешь!.. Там Земляникина!..

Колышкин взбежал на песчаный холм и увидел, как штабные машины вдалеке уходят, покачиваясь на прибрежных песках.

В одной из машин сидела Женечка. Она не оглядывалась: потеряла надежду. Только ее подруга взглянула на Колышкина равнодушно и отвернулась: он ей был незнаком.

Колышкин на ходу вскочил на свое место на крыле машины и нахохлился, тяжело переживая неудачу.

Машины проходили вдоль моря. А стеклянный глобус равнодушно покачивался на прибрежной волне. И тогда Женя сорвал автомат, и очередь разнесла в куски злосчастную находку.

Колонна продолжала движение. Война еще не кончилась, Колышкин плакал. Да, плакал, представьте.

Мост через реку был взорван, и дивизион остановился на берегу. В немецком городке шел бой.

— Залпа не получится, — сказал Мушегян у переправы. — Накроем своих. Переправимся без машин, с ракетами.

Неподалеку виднелся готический собор, а еще дальше, за огромной площадью, стоял большой полуразрушенный дом. Немцы засели там и не давали пехоте поднять головы.

К руинам подобралась гвардейцы дивизиона, поднесли ракеты.

— Найди место повыше, — сказал Мушегян.

— Собор, товарищ гвардии майор, — предложил Ромадин.

— Собор — хорошо. Только как к нему подобраться? Попробуй, Ромадин. Попробуй.

Возле руин валялись разбитые автомашины, детские коляски, велосипеды. Колышкин, Зырянов и Косых выбрали коляски поцелее и спрятали туда несколько ракет. Но едва попытались высунуться, как взвизгнули пули, раскрошив кирпичи над головой. Грохнула мина.

В соседнем дворе жались по стенкам беженки. Захар Косых выглянул из-за угла, и женщины, увидев его, завизжали и бросились бежать, волоча за собой узлы.

— Во дают, — сказал Захар.

— Гутен морген, девочки. — Лешка подмигнул молодой испуганной медхен.

— Что, родственница? — засмеялся Колышкин.

— Родственников за границей не имеем, — отрезал Лешка.

Они заскочили во двор, где валялись столы, кресла и разбитые шкафы. В огромном шифоньере с оторванными дверцами раскачивались на вешалке чьи-то костюмы и платья.

Зырянов и Колышкин выглянули из-за стены.

Дом с эсэсовцами почти не был виден, зато собор и площадь были открыты целиком, и немцы продолжали обстрел.

Но вот немки с узлами выскочили на площадь, и огонь прекратился.

— Безмозглые! — выругался очкастый эсэсовец.

Бородатый немец повернул пулемет.

— Идиоты! Это наши жены и матери! — истерично закричал офицер.

Немки добежали до собора и скрылись.

— Всю площадь простреливают, твари, — сказал Лешка Ромадину.

И тут из шифоньера выскочила какая-то дама. Косых вскинул автомат, но Зырянов схватил его за руку. Из-под шляпки смотрела на них хитрая физиономия Колышкина.

— Товарищ гвардии младший лейтенант, там на всех найдется.

— Отставить, Колышкин! — закричал было Ромадин, потом кивнул оторопело. — Ладно. Только мне что-нибудь простенькое.

Глядя в зеркальную дверцу, Ромадин застегнул блузку, надел дамскую шляпу, туфли на высоком каблуке и захватил дамский ридикюль. С платьями все обошлось. Хуже было с дамской обувью: налезала лишь на носок. Хорошо Ромадину с его тридцать шестым размером! Косых пришлось остаться босиком. Когда все переоделись, на ракеты набросили кружевные занавески.

— Опять эти бабы! — сказал очкастый эсэсовец.

— Все летит к чертям, а они тут со своим барахлом. Вот я им всыплю в лошадиные задницы... Вот этой потаскухе с ридикюлем! — сказал бородатый.

Ромадин с ридикюлем бежал позади всех. Юбка у него была узкая, туфли на каблуках подворачивались, и походка от этого была виляющей.

Немцы кричали:

— Эй, шлюха с ридикюлем, иди сюда, мы тебе поправим колесо!

— Быстрее, дамы! Быстрее! — торопил офицер.

Все шло как нельзя лучше, и вдруг Ромадин заметил, что Колышкина нет: тот зацепился платьем за колючую проволоку и никак не мог вырваться.

— Быстрее, быстрее! — закричал Ромадин.

Женя рванул с такой силой, что полплатья осталось на колочках.

Немцы спохватились, открыли огонь, но поздно: наши герои с ракетами уже были в соборе.

— Ну, пулеглод, грамотный, а тоже соображает, — сказал Захар, вытираясь подолом юбки.

Замкнулись электроконтакты, и ракеты вылетели из окон собора. Прямо по фашистскому гнезду! И все в порядке: пожарной, пехота, можете двигаться дальше.

— Ну, Колышкин, втравил вы меня, — говорил Ромадин, переодеваясь. — Влепят нам за этот маскарад.

И Женя чувствовал себя виноватым.

Однако не вlepили.

Мушегян расцеловал младшего лейтенанта, а через несколько дней Ромадин сменил погоны. Минуя звание — сразу три звездочки — старший лейтенант! И каждому по ордену. Ай да Колышкин! Кто бы мог подумать?!

Ромадин с удовольствием разглядывал свой погон с тремя звездочками и новенький орден, когда подкатил “виллис” и Мушегян, высунувшись, сказал:

— Собирайся, Ромадин! Едем в штаб дивизии. И прихвати с собой одного человека.

— Зырянов! — крикнул Ромадин. — Собирайтесь. Едем в штаб дивизии.

— Есть, — отозвался Лешка, довольный солнцем, тишиной, предстоящей поездкой... — Есть, товарищ гвардии младший... извиняюсь, старший...

Ромадину было приятно.

— Давай надраивайся, — засмеялся Косых с машины, глядя, как Лешка приводит себя в порядок. — Еще одеколончиком полейся. Там тебя Земляникина ждет не дождется... — и осекся, потому что грустное и отчужденное лицо Колышкина возникло перед ним.

— А может, и ждет, — сказал Лешка лихо. — Женская душа — потемки, а у меня — фонарик... — И тоже поглядел на Женю, и вдруг решительно направился к Ромадину.

— Пошлите Колышкина вместо меня, — сказал сурово. — Там дело у него...

Ромадин вылезал из кабины, был он весь настроен празднично и настроение свое щадил.

— Отставить, Зырянов...

Тогда Лешка принялся дипломатничать:

— Я ему говорю — езжай, мол, а он говорит: мол, гвардии старший лейтенант не пустит. А я ему — мол, гвардии-то старший лейтенант как раз и пустит. А он...

Ромадину пришлось по душе витиеватый, хоть и наивный ход рассуждений Зырянова.

— Ну чего у него там? — спросил он, польщенный. И подставил ухо, в которое Лешка деликатно нашептал главное. — Какая еще родственница?.. — удивился Ромадин.

Вот так благодаря Лешкиному благородству Женя оказался в “виллисе”, который мчал его навстречу свиданию.

У переправы пришлось задержаться. По понтонам ползли машины с пехотой и артиллерией.

— Ну прямо Тэрнер... — сказал Караваев, оглядывая перспективу.

— Как? — деликатно переспросил Ромадин, склоняясь к полковнику.

— Я говорю, пейзаж, как у Вильяма Тэрнера.

— А-а-а-а, — протянул Ромадин с ученым видом знатока, приятно улыбаясь.

— Простите, — сказал Колышкин иронически, — разве в Одессе есть Тэрнер?

— Возможно... — Ирония не дошла до Караваева. — Вот взгляните. Ну хотя бы во-о-он туда...

— В Одессе нет Тэрнера, — с убийственной жестокостью произнес наш герой.

Но это опять не подействовало на Караваева.

— Не знаю, не знаю, — сказал он, обращаясь в основном к Ромадину. — Я там не был. И вы знаете, о чем я подумал, младший лейтенант... *(Ромадин склонился еще ниже)* О, простите, старший лейтенант. *(Ромадин улыбнулся великодушно.)* Кончится война — пойду с женой посмотреть старых мастеров. Мы с ней очень любим живопись.

— Старые мастера и молодые связистки, — злорадно и отчаянно выпалил Колышкин, напрашиваясь на скандал. Пора уже было выяснить отношения.

— Что вы? — не понял Караваев.

Ромадин побледнел.

— Чепуха, товарищ гвардии полковник! — заторопился он, показывая Колышкину кулак. — Была тут у нас одна связистка... сержант Земляникина...

— И что же? — спросил Караваев нетерпеливо.

— Ну ее потом в штаб дивизии перевели, — спасал положение Ромадин. — Вы там про реку начали, товарищ гвардии полковник.

— Земляникина? — произнес Караваев. — Позвольте, я ее отлично помню. Прекрасная девушка. А что с ней?

— Да нет, ничего, в порядке, — успокоил Ромадин, вытирая холодный пот со лба.

— Она еще была влюблена в одного солдата, — засмеялся Караваев добродушно. — В этого... Корочкина... Так, кажется?

— Так точно, — поддакнул Ромадин.

— Ну, а он где? — спросил Караваев рассеянно.

— У меня, — снова меняясь в лице, доложил Ромадин. — Тоже в порядке...

— Мне бы лет двадцать сбросить, — засмеялся полковник, — я бы этому Корочкину показал!..

И Ромадин снова вздохнул с облегчением, и снова крайне любезно:



— Еще бы!.. Товарищ гвардии полковник, вы там про реку...  
— А что река? — задумался Караваев. — Река как река. А художник берет кисть... а?

— Да-а-а, — многозначительно протянул Ромадин, “интеллигентно” закатывая глаза.

“Виллис” въехал на переправу.

## Глава восьмая

### *На войне как на войне*

Краски дня начали тускнеть. Приближались сумерки. Колышкин вышел из штаба дивизии, расположенного в кирпичном особняке. Вся площадка перед штабом была заполнена машинами, транспортерами, сновали люди, какие-то девушки в военном с шумом устраивались в кузове грузовика. И Женя с минуту всматривался в их лица с маленькой надеждой. Но девушки были ему незнакомы. Потом грузовик укатил, а Колышкин пошел через двор, сапогами разбрызгивая холодные лужи.

Из штаба выскочил молоденький лейтенант и помахал Жене.

— Эй, Колышкин! Там кухня... Тебе нальют... Иди, пожуй чего-нибудь. Скажи, что я велел.

И снова скрылся, потому что в гимнастерке на ветру было холодно. А Колышкин стоял посреди двора, словно раздумывая: идти ему в столовую или не идти. Вдруг за спиной кто-то тихо сказал:

— Господи, откуда ты взялся?

Обернулся. Женечка стояла перед ним.

— Неужели это ты? — сказал Колышкин и почему-то затопил спрятать руки.

— Не забыл, значит. Вот дружок настоящий. Замерз? — спросила она и взяла его руки.

— Женечка, — сказал он. — Я уж думал — не найду тебя...

— Пойдем, — сказала она и повела его за собой. — Ах ты мой дорогой... Посидим, покурим?

Женя полез в карман, достал папиросы. Она удивилась, взяла одну, а он достал зажигалку и, спрятав огонь от ветра, дал прикурить ей и закурил сам. Совсем взрослый, мужчина, ничего не скажешь! Женечка засмеялась, но не насмешливо, как когда-то, а добродушно.

— Сейчас увидишь, как я живу. Девочки уехали, и я одна...

Они проходили мимо штаба. Молоденький лейтенант выскочил на крыльцо и шутливо погрозил Колышкину пальцем. Потом они прошли через парк, и среди деревьев, за кустами, показался полуразрушенный особняк. Вместо двери зиял пролом, доска заменяла ступеньки.

— Ты на это не смотри, — сказала Женечка. — Там получше будет, внутри... Там тепло.

Он стоял посреди комнаты и смотрел на Женечку.

— Ну, раздевайся, — говорила она радостно, — вот чудак какой.

Но он стоял, и смотрел на нее, и пожимал плечами, и пытался улыбнуться.

— Это потрясающе, — засмеялась она и стала стаскивать с него шинель. — Поешь горяченького? Суп еще не остыл.

Потом он сидел в каком-то удивительном кресле и смотрел, как в печурке беснуется пламя и как Женечка суетится вокруг и хлопочет.

— Вот и опять у нас свидание, прямо посередке войны у нас с тобой свидание.

Она поставила на стол открытую банку мясных консервов, положила хлеб, сняла с печки котелок с супом.

— Как в лучших домах, — сказал Женя.

— А ты думаешь... Водочки выпьешь?

Он кивнул.

— А может, не надо... захмелеешь.

— Ну, ладно, — согласился он, — не надо. Действительно, захмелею...

— Нет, давай немного выпьем. Что от глотка-то будет? За встречу.

— Ничего не будет, — кивнул он. — Давай выпьем. Действительно, за встречу...

И вдруг какой-то одинокий печальный звук раздался где-то совсем рядом и смолк.

— Что это? — спросил Колышкин.

— Это ветер, наверное, в развалинах путается, — сказала Женечка. — Дом-то пустой.

Они сидели за столом. Печурка продолжала гудеть, и теперь лишь отсветы пламени освещали эту большую комнату с окнами, забитыми фанерой и заложенными всякой рухлядью. Ветер простонал снова. Женечка поднялась и зажгла старую желтую свечу. Стало светлей. И потолок словно поднялся, и какие-то предметы выступили из углов. Женечка начала прибирать со стола и, когда была возле Колышкина, наклонилась и поцеловала его в затылок, едва-едва, словно клонула. Колышкин встал и пошатнулся. Она рассмеялась:

— Ты качаешься смешно.

— Ничего, держусь.

Он взял ее голову в ладони.

— Женечка.

Она только ресницами шевельнула.

— Ты о чем думаешь? — спросил он.

— Молчи, — сказала она тихо.

Свеча затрещала. Пламя заколебалось. Тень Колышкина ссутулилась и кинулась прочь. Он обнял ее. Поцеловал сильно, по-мужски. Она прильнула к нему, но тотчас плавно вырвалась, отошла. Стояла неподвижно лицом к стене. Потом она села на край кровати.

Снова прокричал ветер. Свеча вдруг погасла, пустив колечко дыма. Только от печурки, от непогасшего жара расплывался по комнате красноватый свет. Опустился потолок, сдвинулись стены. Женечка резким движением расстегнула ворот гимнастерки, позвала шепотом:

— Иди сюда, Жень, ну иди же.

Кровать с огромными подушками выглядела нелепо в этом полуразрушенном особняке. Красный отсвет затухающей печурки придавал обстановке фантастический вид. Они лежали в молчании, каждый со своими мыслями, словно напряженно слушали крик ветра.

— Я письмо буду ждать от тебя, — вдруг сказал Колышкин тихо.

— Письмо?

— Ты скажи, напишешь мне?

Она молчала.

— Напишешь?

— Да зачем тебе это, глупый?

— Ну хочешь, я маме напишу про все... Сама отправишь... Хочешь?

Она поежилась зябко. Улыбнулась чему-то своему. Потом сказала буднично:

— Отвернись...

Они одевались, и их крылатые тени метались по стенам, по потолку, словно черные большие птицы искали несуществующий выход.

Молчать было трудно, но все слова, что приходили в голову, казались малозначительными.

— Что там? — не выдержал он и кивнул на дверь.

Она уже оделась. Сидела на краю кровати, сложив руки на коленях.

— Там что?

— Развалины, — сказала она, продолжая думать о чем-то своем.

— Кто здесь жил?

Она молчала.

Ах, будь он искушенным, как Лешка, он, наверное, вернулся бы к ней и руку положил бы на плечо, и посмотрел бы ей в глаза, и голову положил бы ей на колени... Но она была далеко, уже далеко, дальше, чем когда бы то ни было. И Колышкин шагнул по комнате без цели и вдруг увидел на полу маленькую фигурку клоуна в клетчатом костюме.

— Игрушка! — сказал он облегченно, потому что об этом можно было говорить.

У клоуна было холодное, злое лицо.

— Здесь много игрушек, — сказала она, тоже радуясь, что можно говорить о другом. — Наверное, дети были... у этих...

Колышкин нагнулся к игрушке, и вдруг ему показалось, что клоун попятился. Тогда он протянул руку, чтобы схватить его, но клоун кинулся прочь, словно живой.

— Вражеский лазутчик, — сказал Женя.

Она рассмеялась рассеянно.

Смех ее несколько приободрил Женю. Он обернулся к ней. Она показалась ему еще прекрасней, чем обычно. Захотелось говорить глупости. Наступила раскованность, словно лишняя тесная одежда слетела с него прочь.

— Сударыня, — позвал он тихо.

Она улыбнулась.

— Сударыня, вашу руку. Я проведу вас по руинам зла...

И он схватил ее протянутую руку и повлек за собой, к двери, в незнакомый мир...

— Куда ты, не надо, — сказала она.

— Сударыня...

— Там холодно... Ветер...

— Я умоляю вас...

Она засмеялась расслабленно.

— Давай лучше здесь посидим, а, Жень?

— Мы обойдем этот вертеп, — не унимался он, увлекая ее за собой, — и утвердим повсюду...

— Давай лучше здесь, — попросила она. — Погворим, что да как... А то ведь мне на дежурство скоро!

Но он уже вошел в роль и был с ней шутливо галантен и изыскан, и она пошла за ним в эту дверь, по коридорам с полуобвалившимися потолками, по залам, где обрывки бумаги носились, как летучие мыши.

— Чем вы занимались сегодня утром, сударыня?

— Колола дрова, — призналась она, не умея еще играть в этом придуманном им красивом представлении.

— Фи! — возмутился он. — Чем же были заняты ваши многочисленные слуги?

— Да хватит тебе, — засмеялась она, оглядываясь.

Что-то тревожное было в этом гулком пространстве вокруг.

— Как вам нравится это гнездышко? — не унимался он.

— Сойдет, — сказала она, с трудом включаясь в игру.

— О, в таком случае, — провозгласил Колышкин, — мой замок к вашим услугам!

Она рассмеялась, но смех оборвался.

— Может, вернемся, а?

Но он уже кинулся к груде фотографий, пестреющих на полу, и перед ним замелькали добропорядочные холеные лица бывших хозяев — дети, юноши, пожилые люди с собакой возле роскошного черного лимузина, с теннисными ракетками, с глазами, устремленными в мечту по заданию фотографа... И вдруг Колышкин вздрогнул: с фотографий на него смотрело задумчивое красивое лицо молодого человека.

— Так это переводчик! — крикнул Женя. — Зигфрид!

Это он!.. Значит, это его дом? Ничего себе домик! — И обернулся к Женечке. — Помнишь, как я в Новый год...

— Так ты что, правда у фрицев побывал? — изумилась она. И он по-детски обрадовался ее изумлению.

— А-а-а, сударыня, — и погрозил ей пальцем, — раскаиваетесь? Считаю меня лжецом? — И снова, нагнувшись к фотографиям: — И в этом замке витал амур... Мимолетное детство, отрочество... И они тоже читали книжки... Может быть, даже Шиллера или Гете...

Женское лицо, похожее на Зигфрида, улыбалось Колышкину из-под разбитого стекла.

— Ах, муттер, муттер! — посетовал он. — Как вы могли?..

Что-то громко скрипнуло. Женечка вздрогнула. Тревога возвратилась.

— Там кто-то есть, — сказала она. — Давай вернемся, Жень.

Но ему было море по колено. У старого рыцаря, скрючившегося в углу, он выхватил ржавую шпагу и поднял ее над головой.

— Пустое, сударыня! Клянусь этой шпагой — ни один волос не упадет с вашей прекрасной головы!

— Это потрясающе! — засмеялась она, не то восторгаясь им, не то осуждая... — Мой рыцарь меня защитит...

— Вы еще смеете сомневаться? — воскликнул он театрально.

И они двинулись по галерее. Женечка шла впереди, и улыбка озаряла ее лицо. Вдруг она погасла. Женечка обернулась. Колышкина не было. В разные стороны уводили двери. Наверху опять что-то скрипнуло.

— Женя! — позвала она, но он не отозвался. — Женя!..

Колышкин между тем, разыскав потешную маску и напялив ее, накинув на плечо портьеру на манер мушкетерского плаща и размахивая шпагой, представлял, как он разыграет свою подругу. Он услышал ее крик и спрятался.

Он вообразил себя хозяином этого замка, а Женечку — своей женой. И из-под маски послышался его смешок, потому что картина, которую он вообразил, была чудовищно нелепа. Шикарный клетчатый костюм на нем — в обтяжку, соломенная шляпа-канотье, в руке стек. Женечка в лиловом платье до пят, с взбитой копной волос на голове, в суете, потому что многочисленные, похожие на херувимов детишки расползаются в разные стороны по дорожному ковру и сваливаются с горшочков... Потому что явились гости и нужно вести с ними светский разговор. А гости — это Захар Косых в черном фраке, опрокидывающий черный касторовый цилиндр, откуда в Женины ладони струится крупная редиска, Лешка Зырянов в генеральском мундире, сияющий и снисходительный, и Ромадин в штатской паре, читающий Жене громадный поздравительный свиток.

...Остановись, Колышкин! Спустись на землю! Тебе и в голову не приходит, что тревога Женечки не напрасна, что война — не только линия огня, что она повсюду... Остановись, Колышкин! Окликни ее! Она втянулась в твою игру и уходит все дальше, в глубь особняка.

Поздно.

Три лихорадочных выстрела прокатились по коридорам и галереям особняка. Она приняла их в упор, когда вбежала в дверь. Она успела увидеть бледное, перекошенное незнакомое лицо и понять, что это и была ее смерть, и удивиться, что Женя позвал ее сюда, так ей послышалось...

Она рухнула к ногам Зигфрида, это был он, и в ее мертвеющих, широко раскрытых глазах застыло изумление.

Зигфрид тяжело дышал. Он еще не успел переодеться и стоял у раскрытого шкафа. Лицо его в копоти, рубашка разодрана, обгорелый мундир и фуражка валялись на полу. Он вытер ладонью пот, напряженно вслушиваясь. Быстрые шаги приближались. Зигфрид отскочил в темноту, держа пистолет наготове.

Женя вбежал и не успел еще увидеть Женечку, как раздался выстрел. Он метнулся в угол, пуля взвизгнула и рикошетом разнесла статуэтку.

Зигфрид уложил бы его вторым выстрелом, потому что Колышкин стоял открытый, прижатый в угол, и автомат висел за его спиной, но он узнал Женю, “Эвгения”, с которым свела его когда-то ирония судьбы.

Не видя врага, он стрелял, не задумываясь. Так стрелял он в

Женечку, едва она распахнула дверь. Но выстрелить в лицо Колышкина... Он смутно понимал, что если не убьет русского, тот убьет его. И все-таки колебался. Что-то сместилось в его сознании с тех пор, как рухнуло все, во что он веровал. В его родном доме русские, и он вынужден прятаться, бежать, как затравленный зверь. Сколько крови вокруг, сколько страданий, во имя чего? И эта русская на полу...

“Не может быть... — думал Колышкин о Женечке. — Этого не может быть, это невозможно... — А сам смотрел в глаза Зигфрида, не отрываясь. — Я не успею сорвать автомат... Он выстрелит”.

Не опуская пистолета, Зигфрид вдруг попятился и выскочил, захлопнув дверь.

Колышкин застыл в оцепенении. Он не мог осознать случившееся. А может быть, все это его фантазия? Он прикоснулся к ее руке и вздрогнул. Она не шевелилась, и глаза ее были все так же распахнуты в мертвом изумлении. И Женя вдруг закричал, будто от нестерпимой боли и, еще не отдавая себе отчета в своих действиях, побежал по коридору, сжимая автомат, ища того, чьи шаги уже были едва слышны.

Зигфрид выскочил во двор, где стояла открытая легковая машина. Он легко прыгнул на сиденье, взревел мотор, но не успела машина тронуться, как длинная автоматная очередь оборвала его жизнь мгновенно и бесславно.

Колышкин стоял в окне, держа в руках горячий автомат, и в глазах его застыла ненависть. Он тяжело дышал и облизывал пересохшие губы. Потом он вдруг обмяк, опустился на подоконник, и плечи его задрожали...

## Эпилог

На площади, среди руин поверженного немецкого города, закончился парад. Уходили оркестранты, поблескивая трубами; усаживались в трофейные легковушки генералы; солдаты — в грузовые машины. На гряде битого кирпича гармонист играл что-то лихое, самозабвенно растягивая меха. Молоденькая регулировщица на перекрестке бывших улиц размахивала флажком, и крик ее тонул в грохоте военной техники.

А вдоль реки, замусоренной и грязной, на желтой траве виднелись свежие холмики братских могил, над которыми голубели наспех сколоченные обелиски с красными звездочками. Где-то на дощечке, прибитой к деревянному памятнику, можно было отыскать и фамилию Земляникиной Е.И., 1921 года рождения.

Возле искореженного здания стояла “катюша”, и Ромадин писал письмо, разложив листок бумаги на крыле машины, время от времени поглядывая на женскую фотографию. Лешка Зырянов раскуривал немецкую сигару и морщился недовольно — не тот табак. Колышкин и Захар старательно драили спарки.

И вдруг послышался хохот девушки. Звонкий, уже послевоенный. На подножке связной машины, на которой когда-то ездила Женечка Земляникина, стояла незнакомая связистка, розовощекая, большеглазая и кокетливая. Она смеялась, закидывая голову и поглядывая на стоящих перед ней офицеров, которые напропалую смешили ее, стараясь, очевидно, произвести впечатление. Она смеялась, а наши герои смотрели на нее с грустью, потому что перед ними все время возникал образ Женечки. И хохочущая связистка даже раздражала их, хотя ни в чем не была виновата.

Лешка, решительно выплюнув сигару, направился к разбитому зданию с колоннами, на котором писали все, кому не лень, свои победные имена, и, ухватив большую кисть, вывел на свободном месте: “Земляникина” — крупно, так, чтобы далеко было видно, чтобы была она среди живых хоть на этой выщербленной осколками и пулями стене.

Женя смотрел на его работу, и в глазах его была такая тоска, что Захар Косых, который ел сухарь, пожалел товарища.

Кто-то из солдат попросил:

— Захар, дай сухарика.

— Последний, — ответил он по привычке. И вдруг обернулся к Колышкину и сунул ему сухарь в губы.



Колышкин спустился со спарок на крышу кабины, где стояло ведро с водой, нечаянно задел ведро, оно опрокинулось и выплеснуло всю воду на новенький мундир Ромадина.

Ну что ты будешь делать?!

Колышкин опустил голову. Он ненавидел себя, презирал, проклинал... А Ромадин стоял, беспомощно держа в руках намокшее письмо и фотографию.

Сердиться было бесполезно.

На этом мы позволим себе расстаться с нашим героем и его прекрасными друзьями. Что станет с ними потом, сохранится ли столь трудно возникшая дружба, об этом нам известно не более, чем вам, дорогой читатель и зритель. Однако будем надеяться на лучшее. Будем надеяться. Да.



**Булат Окуджава  
Петр Тодоровский**

**„Верность“  
(„Пусть всегда будет  
солнце“)**



**Киносценарий**

— С места с песней... шагооом...

Как пружина, подался чуть вперед строй зеленых обмоток, галифе, гимнастерок...

Рядом, на крыльце курсантской столовой, девушка-повар собралась было выбросить очистки, но так и застыла с откинутым ведром...

Старшина улыбается. Он доволен своей выдумкой. Заметил девушку на крыльце. Большими пальцами расправляет гимнастерку от пупа до бедер. Подбоченился, молодежато подмигивает ей.

От давно обмусоленной кости оторвался вечно дежурный у столовой огромный худющий пес...

Курсант крайнего ряда, почти не поворачивая головы, скорчил псу страшную рожу...

Пес не выдержал — озлобленно гавкнул!

И тут же, словно по команде “марш”, сто двадцать ног, обернутых спиралью зеленых обмоток, прессом ударяют асфальт дороги.

Вместе с паром, из луженой глотки самого крайнего и, естественно, самого маленького курсанта вырвалось:

— Там, где пехота не пройдет,  
Где бронепоезд не промчится...

Оторопевший старшина, так и не подавший команду “марш”, уничтожающе глянул на пса, догнал строй, “поправил ножку...”

— Ррясс, ррясс, ряс, два, три... — У казармы старшина приостанавливается. — Ррротааа...

Печатают шаг курсанты.

Плавню раздвигая руками, старшина оглядывается назад (нет ли здесь еще какого-нибудь пса), наконец решается:

— Стой!

Остановилась рота. Замерла.

— И не шевелись! — зычный голос старшины. Он проходит вдоль строя, останавливается, молчит. Тщательно всматривается в лица курсантов...

Спокойно-застывшее лицо парня, который скорчил рожу псу.

Наконец:

— Вольно!..

Осел строй серых шапок.

— Значит, так... — ложно-спокойное лицо старшины. — Может, кто хочет на губу?.. Я ведь не постесняюсь... Ясно?

— Ясно! — грохнул строй.

— Рррразайдись!

Метнулись в разные стороны, рассыпались темные фигурки на белом снегу и тут же собираются группками. Заиграл над ушанками едкой махорочный дымок.

— Так, — говорит парень, устроивший шутку с псом, — кто даст закурить? — Он широко размахивает руками, хитрые глаза посверкивают. — Только не все сразу, — предупреждает Мурга, — по очереди...

Все посмеиваются. Никто не предлагает Мурге курево.

— Значит, так? — Мурга останавливается. — Ну ладно, следующий раз вы у меня будете стоять на цыпочках до посинения... ни я, ни пес не шевельнем пальцами...

— На, Сеня, кури... А то действительно... — сжалился маленький запевала.

— А-а, испугались... — шутит Мурга, а сам с удовольствием затягивается.

В проходной ворот появляется колонна новобранцев. За спиной каждого — туго набитые мешки... Впереди — лейтенант. Видно, идут издалека.

Курсант, давший Мурге закурить, подняв руку в пионерском салюте, тихо:

— Смена смене идет...

Курсанты с любопытством провожают новобранцев.

— Вот где жратвы! — мечтательно произносит кто-то.

Новички останавливаются на плацу: Снимают мешки. Закуривают.

Мурга подходит к добротнo одетому новичку. Рядом с ним полный сидор.

— Воевать собрался? — кивает Мурга на сидор.

Даже не повернув головы, новичок продолжает жевать...

Мурга не теряет надежды.

— Э-э-э, друг... нехорошо. С такими повадками здесь не проживешь...

— Ничего, — с трудом прожевывая, бурчит тот, — проживу.

— А знаешь, как в Евангелии об этом говорится?

Новичок поднимает на Мургу насмешливый взгляд. (Знаю, мол, на что ты намекаешь.)

— Там сказано так: "Сделай благо ближнему, и господь Бог возблагодарит тебя яко песок морской..." Понял?

— Конечно... Только я в бога не верю. — Новичок насмешлив.

— Я тоже... только...

— Может, тебя угостить? — будто не понимая, говорит новичок.

— Ну... а я про що ж пытаю...

— Так бы сразу и сказал... а то евангелию развел... — Он долго роется в мешке... наконец извлекает два маленьких сухарика. Протягивает Мурге.

И уже отходя, Мурга цедит сквозь зубы:

— Жила.

А вокруг новички достают из своих мешков самое вкусное, самое драгоценное, чем можно угостить во время войны, — хлеб и, не скупясь, раздают его старожилам.

Работая челюстями, Мурга прогуливается по своеобразной улице, где так вкусно пахнет хлебом и гражданкой. Его внимание привлекает ходошавый паренек в старой буденовке.

— Звидкеля, буденовец?

— С первой конной, — говорит парень.

Он сидит на тощем вещмешке. Здрава голову, разглядывает Мургу. Он еще совсем молод. Большие глаза — на худом лице.

— А где ж твой конь, буденовец?

Парень похлопывает себя по животу:

— Съел...

— Целую лошадь?! Скажи, пожалуйста... Такое мале...

Парень улыбается.

— Не веришь?

— Верю, что ты... у тебя, конечно, и образование соответствующее.

— Среднее...

— Ну, этого вполне достаточно. — Полушепотом: — Ты, надеюсь, оставил там... на черный день, а?

— А что, сегодня черный день? — улыбается парень.

— Ну, если ты голоден, я могу предложить... — Мурга протягивает парню сухарь.

— Да нет... что ты... не надо... — парень смущен.

— На, у тебя зубы крепкие...

— Я не хочу... Серьезно.

— Бери! — почти угрожающе. — Еще “серьезно”... Дают — бери, бьют — давай сдачи. Понял?..

Парень с наслаждением жует. Утвердительно кивает.

Мурга поглядывает на него. Он стоит над сидящим парнем, невысокий, коренастый, в покровительственной позе, выпятив грудь, отставив ногу.

— Вот так всегда... Всю жизнь, понимаешь, кому-то нужна моя помощь...

Парень поднял голову. Внимательно смотрит на Мургу. Мурга скручивает сигарку.

— Ладно, — говорит он, — держись за Мургу... Меня на всех хватит.

Слышится команда: “Становись!”.

Новобранцы беспорядочно строятся. Поднимается и парень. Он почти на голову выше Мурги. Теперь Мурге приходится заирать голову. Он несколько обескуражен.

— Хорошо бы нам в один класс попасть, — говорит Никитин.

Это неожиданно рассеивает растерянность Мурги.

— Ро-та... — по слогам произносит он. К нему вернулся покровительственный тон: — Пятая рота, запомни.

Между железнодорожным полотном, проходящим в ложине, и группой пригородных домов — ровный пустырь.

Взвод, разбившись попарно, отрабатывает строевой шаг. Доносятся голоса команд: “К нооге...”, “На руку...”, “Стрроевым...”

В центре площадки — Мурга. Он отдельно командует неизвестно кому:

— Ррраз... ррраз... Тяни носок, носок тяни!.. Колено не гни...

Мимо Мурги, старательно печатая шаг, с винтовкой наперевес проходит Никитин.

— Отставить! — кричит Мурга. — Юра, я же тебе показывал... — Он подходит к Никитину. — Смотри! — Берет винтовку наперевес. — Главный: тяни носок... и угол... чтобы угол был. — Он тянет ногу, показывает. — Давай вместе. Шагом марш!.. — командует он.

Они идут вместе с винтовками наперевес. Навстречу появляется тоненькая девчонка. В руке — кошелка. Она идет быстро. Расстояние между ними сокращается. Курсанты переглядываются. Мурга подмигивает. Они выпрямляются, еще сильнее печатают шаг. Идут прямо на нее.

Девчонка понимает маневр. Она слегка меняет направление. Но курсанты продолжают идти на нее. Теперь уже никаких сомнений. Они это делают специально. И девчонка, не сворачивая, идет на штыки! Еще мгновение — и штыки упрутся в ее грудь. Она вызывающе тряхнула головой. В последнюю секунду, не выдержав “тарана”, курсанты обходят ее.

Группа курсантов, прекратив занятия, наблюдают эту сцену. Ай да девчонка! Идет себе как ни в чем не бывало...

И тут Мурга и Никитин резко поворачиваются. Винтовки наперевес и за нею строевым.

Как на эшафот, поднимается девчонка на ступеньки крыльца под конвоем двух штыков. И у самой двери неожиданно

обернувшись... (Кошелка слегка постукивает по коленке. Лицо спокойно-спокойно. Даже чересчур.)

— Ну, что дальше? — убийственно спокойно, в упор спрашивает она.

Замерли, оторопев, курсанты. Лица глупые. Так это непредвиденно!

— К ноге, — растерянно командует Мурга.

Опускаются винтовки. С площадки доносится хохот курсантов. Издевательски улыбается девчонка.

— Вольно, — говорит Мурга, приходя в себя. Он хочет еще сказать что-то, но она уже скрылась за дверью.

— Как-то неудобно получилось, — говорит Никитин.

Они понуро выходят из палисадника.

— Невоспитанная женщина, — шутит Мурга из последних сил.

— Красивая, но невоспитанная, — в тон Мурге говорит Никитин.

— Мало того, прекрасная, артистичная, — говорит Мурга, — но плохо воспитанная.

— Она, наверное, думает, что мы глубоко переживаем, — говорит Никитин.

— А нам хоть бы что, — грустно говорит Мурга. — И немного помолчав: — Ну, ладно... На рруку!

Они снова берут винтовки наперевес.

— Ррраз... ррраз... — командует Мурга.

Две прямые спины удаляются. И вот уже их не различить среди остальных курсантов.

Зоя проходит в комнату, бросает кошелку на диван. Прямо в пальто подходит к окну. Сквозь занавески видно, как на плацу занимаются курсанты... Находит в буфете прикрытый салфеткой кусок хлеба. Берет — ест. Подходит к зеркалу. Выражение лица — сплошное презрение и неприступность. Становится в позу, которую заняла перед курсантами: коленкой подталкивает мнимую кошелку.

— Ну, что дальше?..

Довольна собой. Все было сделано правильно. Удовлетворительный жест. Ставит на подоконник старенький патефон. На диске — заезженная пластинка “Итальянское каприччо”. Труба. Ставит. Распахивает форточку. Наблюдает.

Курсанты останавливаются, прислушиваются. Затем, словно по команде, движутся в такт медленной мелодии. Смешно, по-журавлиному, вышагивают курсанты.

Казарма. У круглой металлической печи толпятся курсанты.



Лучшему рассказчику уступается самое теплое местечко — напротив раскрытой печной дверцы: чем больше интересных историй ты расскажешь, тем дольше сохранишь за собой это место.

— А теперь про Гитлера...

Курсант с раскрасневшимися щеками начал было новый анекдот, но его останавливают:

— Давай лучше про гражданку...

— Пожалуйста. Знаете этот... как его... ну-у... Как приходит поп к милиционеру... Не знаете? Значит, так! Приходит поп к милиционеру, так?... И... (Пауза.) Не, не, не... вру... Приходит милиционер к попу и говорит...

Рассказчик морщит лоб, мучительно пытается вспомнить продолжение. Уходить от дверцы не хочется.

— Ну, так что он ему сказал?! — не выдержал один из слушающих.

Краснощекий понимает, что царство его закончилось. Неохотно поднимается, продолжая хвататься за соломинку:

— В общем, я, ребята, точно не помню, что он ему сказал, только ляп по морде... Мы так смеялись, так смеялись...

Взрыв смеха. Место у дверцы лихо занимает новый.

— Однажды, — многозначительно произносит он.

Камера движется по узкому проходу. С одной стороны — нары, с другой — замороженная кирпичная стена. Чуть проглядываются светлые полосы туго натянутых простыней. Переливаясь, бликуют снежинки на стене.

Спустив ноги на пол, лежат на нарах Никитин и Сеня Мурга. Они пользуются темнотой, которая позволяет безнаказанно лежать до отбоя в одежде.

Никитина узнать трудно. Непривычно стриженная голова. Длинная шея высовывается из непомерно широкого воротника. И только глаза, огромные и глубокие, проглядываются в темноте. Сюда периодически доносятся взрывы хохота курсантов.

Они лежат молча. Каждый со своими мыслями.

— Дааа, — говорит Мурга.

— Дааа, — говорит Никитин. И после непродолжительной паузы: — Денжки на меня все-таки тратят зря...

— Какие денжки?

— Какой из меня командир?..

— Да, какой из тебя командир, — шутит Мурга.

— Я ведь рохля...

— И разгильдяй, лапша... — смеется Мурга.

— Вот именно... Тебе-то по ночам атаки снятся... Да?.. А мне...

— Атаки, атаки... — Мурга сладко жмурится. — Мою атаку зовут Катя... У тебя, наверное, и девчонки еще не было... А у

меня была... — Мечтательно: — Она на санках любила кататься. После школы мы вместе... Там у них горка во дворе была... Вечером... ее отец главный в Осоавиахиме был...

Взрыв хохота у печки.

А Никитин слушает Мургу и задумчиво смотрит на верхнюю часть замороженного окна, на потолок, где мокрятся снежинки... И видит Никитин три клена, и сентябрьская листва осыпается с них, а за ними белеет здание школы, и окна еще распахнуты...

— Она мне говорит: “Сеня...”, а я говорю: “Что?..” — доносится бормотание Мурги.

...А из распахнутых окон плывет неторопливое гудение школьных буден.

— ...Пустыня Сахара занимает территорию...

— ...АБ в квадрате плюс ЦД в квадрате равняется... — голос девчонки из другого окна.

Взрыв хохота курсантов.

— “Как ныне собирается вещей Олег... отмстить неразумным хазарам...”

Заглушая детские голоса, доносится: “Вставай, страна огромная...”

Мимо школы проходит воинская часть. Это они поют. А через дорогу, в скверике, среди покореженных кустов — танки. А чуть поодаль выстроилась шеренга танкистов. Они в комбинезонах и в шлемах. Это как темный забор. И вдоль этого “забора” в белых парусиновых туфлях и в парусиновом же костюме довоенного шитья медленно семенит пожилой человек. В одной руке у него — портфель, а в другой — кошелка.

Напротив школы, на скамейке удобно устроилась девчонка. Она насвистывает знакомую довоенную мелодию. В руках — маленькое зеркальце. Она поигрывает им. Солнечный зайчик пробегает по школьному зданию, забирается в окна.

Из окна третьего этажа школы ползла вниз спичечная коробка, болтаясь на нитке, она медленно опускается.

Девчонка уже под окном. Она встает на цыпочки, дотягивается рукой, достает коробок. Внутри — камешек и записка. Разворачивает. Две математических задачи. Девчонка достает карандаш, быстро решает.

Слышны голоса экзаменующихся.

Хохот курсантов.

В классе, под партой, руки осторожно поворачивают нитку. Это Никитин. Совсем еще мальчишка. Только те же громадные глаза. И шея, тоненькая, словно стебелек, тянется из воротника белой сорочки. Скрипят перья...

Далекий хохот курсантов.

Спичечный коробок уже в руке.

Распахивается дверь класса. На пороге — директор. Класс шумно встает. Директор жестом усаживает учеников, что-то шепчет учителю, обращается к Никитину:

— Никитин, выйди-ка на минутку...

Молчание. Никто не шевелится. Ученики знают, что это Никитин тащит шпаргалку.

Стукнула крышка парты. Никитин проходит по классу. Учатливые лица товарищей.

Доносится далекий хохот курсантов.

В коридоре. У директора неподвижное лицо.

— Там мать во дворе, — говорит он. — Иди к ней.

Огромный пустой школьный двор. Вдали на скамейке — женщина. Никитин подсаживается к ней. Дальний план. Две маленьких неподвижных фигурки. Видно, как женщина роняет голову на плечо сыну. Плачет.

В тишине двора резкий и продолжительный звонок на перемену.

И вот уже двор заполнен шумной детворой. И мы за ними уже не видим Никитина и его плачущую мать.

Рука медленно выводит в школьной тетради:

“1941 год. Сентябрь. Какой-то фашист убил отца”.

Знакомый плац. Белый холодный блин в небе слегка пробивается сквозь мерзлую дымку. Это солнце.

Топчутся хромовые сапоги. Застукивают носки о каблуки. Все чаще и чаще. Это командир взвода. Он окончательно продрог.

— Взвооод, ко мне!

— Так, — говорит он сбежавшимся курсантам. — Сейчас два часа... Через сорок минут быть здесь. Ясно?.. Это звучит как “спасайся, кто как может...”

Мурга и Никитин бегут к домам. У знакомого крыльца Никитин резко останавливается.

— Тут эта живет... Помнишь?.. Я не пойду...

— Вот и хорошо... Знакомая все-таки... — И Мурга стучит в дверь.

— Узнает — не пустит, — говорит Никитин.

— Нас?! — притворно поражается Мурга.

— Красных командиров?!.. — пытается улыбнуться Никитин. Он топчется на месте, похлопывает себя по спине. Вид не очень боевой.

Дверь распахивается. На пороге молодая женщина. Мурга пытается что-то сказать.

— Давайте, давайте... Быстренько... — говорит она. — Проходите...

По их замерзшим лицам видно, зачем они пришли.

На кухне, на маленьком столике тазик, Зоя стирает с ожесточением. Слышно, как хлопает дверь, как покрякивают и ухают незнакомые голоса.

— Это же экватор! — доносится оттуда.

— Проходите, мальчики, к печке, вот сюда... Разувайтесь...

Зоя прислушивается.

В комнате, у печки-голландки, перед открытой дверцей усаживаются ребята. Весело потрескивают чурбачки в печи. Мурга устроился прямо напротив открытой дверцы. Никитин — сбоку. Они с благоговением подставляют теплу лица, руки, животы... Хочется зажмуриться и тихонечко завить от блаженства.

Мурга торопливо стягивает сапоги, портянки — как знамена в руках. Белые ступни ползут к жару.

— Мороз-Красный нос, — почему-то говорит Мурга.

Никитин хмыкает в ладонь. Мать, проходя в другую комнату, неизвестно кому:

— Ничего... теперь все хорошо будет... Страшное — позади. — И Никитину: — А вы что ж, молодой человек?..

— Действительно, — говорит Мурга, — время-то идет. Грейся.

Никитин наклоняется, чтобы стащить сапог, в это время в дверях комнаты появляется Зоя. Она в фартуке, руки раскраснелись. Смотрит.

И Никитин уже не представляет, как это он сейчас разуется и будет босые ноги перед жаром вертеть, а она стоит и смотрит. Он слегка поворачивает голову — на ногах у Зои смешные нелепые шлепанцы.

— Я уже отогрелся, — говорит он. — Тут даже через сапоги проходит.

Зоя смотрит на ребят. Она их прекрасно помнит. Сейчас они выглядят довольно жалко.

— Поставь чайник, — говорит мать.

— Здравствуйте, — говорит Мурга.

— Теперь я понимаю, почему вы отступали... — говорит Зоя.

— Ну, когда это было... — говорит Никитин.

— Я вижу, как вы наступаете здесь, под окнами, — говорит Зоя, уходя.

— Да поставь же чайник!.. — смеется мать.

Мурга разглядывает палец на ноге, покачивает головой:

— Вот и палец отморозил... Совсем красный стал... (Ему хочется быть раненным.)

Из кухни доносится голос Зои:

— Когда отморозено — белеет, а не краснеет.

Никитин хмыкает. У Мурги в глазах — лукавство.

— Прекрасная, но плохо воспитанная, — шепчет он Никитину.

Зоя входит в комнату. Никитин искоса поглядывает. Она уже без фартука. На ногах — настоящие женские туфли.

Мать разливает чай. Стаканы тонкие, довенные, с легким узором на стекле, в тяжелых подстаканниках.

— Только пирожное у меня, к сожалению, не совсем свежее, — говорит мать. Она говорит это “совсем серьезно”. Только губы слегка подрагивают и вот-вот выдадут ее.

Никитин смотрит на нее подозрительно: есть что-то настораживающее в ее интонации.

— Разве в этом дело... — говорит Мурга.

Зое нравится затея матери.

До Никитина вдруг доходит, что их хотят разыграть. Но, продолжая игру, он поворачивается к матери:

— А какое у вас пирожное?

— “Наполеон”.

Никитин поворачивается к Мурге.

— А мы ведь не едим “наполеон”... Правда, Сеня?

— Почему это не едим? — недоумевает Мурга и смотрит на Никитина особым образом, что должно, по всей вероятности, обозначать: “Ну что ты ломаешься?!”

Мать уже открыто улыбается. Она не выдержала.

— Зоя, достань там пирожное...

— Где, там?.. — смеется Зоя.

— Ну там, в этом самом... Что ты, не знаешь?..

Все смеются. До Мурги дошло.

— “Наполеон”? — смеется Мурга. — “Наполеон” мы не едим... С кремом... фу...

А мать уже не смеется.

— Ничего, мальчики, — говорит она, — будем еще пить чай с пирожными...

— Ничего, — говорит Зоя, — а потом еще одна война будет...

— Ну уж нет... После такой войны?.. — поражен Никитин.

— Почему это нет? — с вызовом спрашивает Зоя.

— А потому, что мы их так расколошматим, — говорит Никитин, — что им больше не собраться.

— Зимой чай — это хорошо, — вздыхает Мурга. Он раскраснелся. Ему хорошо. Он прихлебывает чай маленькими глотками.

— А если б тебе сейчас в разведку? — спрашивает Никитин, посмеиваясь...

— Господи, в какую еще там разведку!.. — презрительно бросает Зоя, проходя мимо них к окну.

И вдруг у Никитина со звоном выскальзывает из стакана ложечка. (Вот растяпа!.. Сейчас она начнет издеваться.)

— И зачем ты только ложечки достала?! — сердится Зоя. — Все равно ведь без сахара!..

В прихожей хлопает дверь. Кто-то вытирает ноги, шаркает подошвами. В комнату входит пожилой, невысокого роста капитан.

Никитин и Мурга вскакивают со стаканами в руках. Вытягиваются. Капитан молча кивает. Проходит к своей комнате. Проходя, с удивлением смотрит на портянки, на босые ступни. Зоя замечает его взгляд. Капитан скрывается в комнате.

— А ваш папа строгий, — натягивая сапог, говорит Мурга.

— Наш папа, — говорит Зоя резко, — уже третий год там. А это наш квартирант.

Неловкость возникла с приходом капитана.

— Нам пора, — говорит Никитин, ставя недопитый стакан.

До Зои доносится из передней голос Мурги:

— Чай недопили... Придется еще разок зайти.

— Приходите, чаю хватит, — говорит мать.

Мурга и Никитин уходят.

Входит в комнату капитан, Иван Терентьевич. Он ставит на стол банку консервов, говорит:

— Ну как?.. Здорово я их напугал?

Лицо его преобразилось. В нем уже — ничего от недавней суровости.

Никто не отвечает ему.

Он подталкивает банку консервов пальцем.

— Говорят, наши Запорожье взяли, не слышали?

— Иван Терентьевич, — говорит мать, — я же просила вас... Не надо... Зачем вы нам это?..

— А кому же?.. — Он уходит к себе как-то сжавшись.

Зима. На оконном стекле подтаял кружок. Рука протирает его. Зоя вглядывается в чистый просвет.

На краю откоса, на фоне зимнего неба, четко вырисовывается курсантский строй. Сбоку — лейтенант, размахивающий руками.

Внимательное лицо Зои. Губы поджаты.

Под откосом проходит поезд. Клубы пара заволакивают курсантскую шеренгу. Ничего не видно.

Зоя машинально протирает кружок на стекле. Расходится пар... У курсантов перекур.

Зоя на ходу набрасывает пальтишко, хватая полное ведро воды, выходит на крыльцо. Осторожно, чтобы не заметили курсанты, выплескивает воду в снег. Затем медленно, с достоинством идет к колонке. Ни разу не взглянув в сторону курсантов, набирает воду. Все это она делает по-будничному, деловито...

В кругу курсантов — Никитин. По красной его ладони, выглядывающей из подмышки, наносится очередной удар. Курсанты играют в “угадай”. И снова Никитин не угадывает: все его внимание устремлено на Зою.

Мурга замечает взгляд Никитина.

— Надо помочь, — подмигивает он в сторону колонки.

Никитин делает несколько шагов по направлению к Зое. Но несколько курсантов уже опередили его. Никитин остановился.

— Бегом же!.. Ну! — шипит Мурга.

Но курсанты уже рядом с Зоей. Один подхватывает ведро. Легко несет к крыльцу. Зоя идет впереди. Она раскрывает калитку, пропускает курсанта с ведром вперед. И как бы невзначай полуборачивается в сторону плаца. На ее лице лишь на мгновение мелькает не то чтобы злость, не то чтобы презрение, а что-то едва уловимое и не очень лестное в адрес Никитина.

Мурга видит, как на крыльце Зоя разговаривает с курсантом. Он поворачивается к Никитину, во взгляде — укор. А Никитин, не отрывая взгляда от крыльца, с отчаянием лупит по ладони очередного водящего.

— Строчков, ко мне! — в сердцах командует Мурга.

Курсант, разговаривающий с Зоей, подбегает к нему.

— Слушай, Строчков... — мнется Мурга. Видно, он еще не придумал, что сказать Строчкову. — Послушай, ты, значит, сегодня в наряд идешь... да?

— Какой наряд? — Строчков торопится вернуться к Зое. — Я только вчера был...

— Погоди, погоди... Так... Ты вчера был... Ага... Хорошо... Тогда это... значит, — он говорит, а сам смотрит в сторону Никитина.

— Да был я, был... Точно. — Строчков снова порывается к крыльцу.

Но Мурга удерживает его:

— Нет, я вот по какому вопросу...

Никитин взмолился:

— Хватит, рука болит...

Он видит, как Мурга проходит мимо, даже не взглянув на него. Никитин идет следом.

— Сеня!..

— Ну, чтоб я еще вмешивался в это дело...

— Сеня...

— Да горите вы все!..

Мурга подходит к откосу. Дальше пути нет. Садится прямо в снег, свесив ноги с откоса. Торопливо, нервно курит.

Никитин подсаживается рядом. Молчит. Никитин посматривает на Мургу. Осторожно. Лицо Мурги не предвещает ничего хорошего. Мурга делает глубокую затяжку, откусывает кончик, сплевывает и молча, не глядя, протягивает окурок Никитину.

Вони проходит поезд. На платформах — орудия, танки...

Они внимательно всматриваются. Клубы белого пара постепенно заволакивают сидящих.

Зимние сумерки. К дому Зои решительно направляется Никитин. У самой калитки дорогу ему пересекает кряжистый военный. Он первым входит в калитку. Идет к дому. Длинная офицерская шинель, облегающая сутулую спину, скрывается за дверью Зоинного дома.

На лице Никитина мгновенное раздумье. И тут же, упрямо тряхнув головой, направляется к дому. Перед дверью поправляет ремень и решительно стучит.

Распахивается дверь. На пороге — капитан. Квартирант Зои. Он еще не успел снять шинели, но уже без головного убора. Большая лысина показывается перед Никитиным.

— Вы ко мне? — очень по-штатски спрашивает капитан.

— Никак нет! — Никитин вытягивается перед ним.

— А что вы хотите?

— Я тут к одной девушке...

Капитан преображается. Сосредоточенность сменяется хитровой улыбкой, которая вдруг очень украшает его лицо.

— Ааа, такая молоденькая?..

— Да, да, — торопится Никитин, — ее зовут Зоя.

— А фамилия?

— Фамилию не знаю...

— Как же так?.. — капитан рассуждает, словно уже с самим собой.. — Разве можно приходить в гости и не знать фамилии?..

Никитин не отвечает. Он смотрит на капитана с неприязнью...

— В мое время, — продолжает разглагольствовать капитан, — я бы, например, приложил максимум усилий, а фамилию бы узнал, да и не только фамилию...

Никитин молчит. Ему уже неприятен этот разговор.

— Наверное, у вас и этой, как ее... и увольнительной нет?

— Ничего у меня нет, — лихо козырнув, Никитин стремительно уходит.

— Куда же вы? — Капитан не ожидал такого оборота. Он выразительно почесал затылок (перехватил, мол, малость).



Проходит в свою комнату, напевая: “И я была девушкой юной, но только не помню, когда”.

— С кем это вы так долго на крыльчке простаиваете? — спрашивает Зоя. Она раскладывает на полу большой серый лист бумаги. Рядом краски, кисти.

— Да вот, понимаете... симпатичный молодой человек... Я с ним пошутил, а он не понял... И эээ... ушел.

— А что он хотел?

— Ну, естественно, спрашивал вас. Курсант какой-то.

Зоя резко встает, бежит к дверям.

— Не меня же... — бормочет капитан из своей комнаты.

Возвращается Зоя. Губы сжаты до белизны. Она взволнованно проахаживается по комнате. Гнев мешает ей подобрать нужные слова.

— Вы вот в теплом кабинете сидите, — бросает она с возмущением, — а он целый день на морозе... Вы это понимаете?.. Целый день!..

— Зочка... — говорит капитан.

— Зачем вы вмешиваетесь!.. — Она почти плачет.

— Я не думал, что так серьезно... — Он растерян. Потом тихо, успокаивающе: — Придет... Куда ему деваться.

— Нет, не придет, — всхлипывает Зоя, — вы не знаете, какой он.

На краю откоса — силуэт Никитина. Сумерки.

— ...Не придет... — слышится голос Зои.

Никитин решительно поворачивается и идет к дому Зои. У калитки останавливается. Заманчиво желтеет окно. Там какие-то тени. Никитин собирает с забора снег. Мнет его. Долго. Размахивается, бросает в окно. К стеклу приникает тень. Никитин ждет. Он прислонился к забору. Он и не думает уходить.

Распахивается дверь. На крыльце — Зоя. Она освещена не очень ярким светом, вырывающимся из проема, медленно разворачивает половик, мельком поглядывает по сторонам, начинает вытряхивать. И все это не спеша. И Никитин хорошо ее видит. Вот она медленно складывает половик, и при этом мельком осматривает палисадник, медленно поворачивается к дверям. Вошла. Потянула за собой дверь, но оставила ее открытой. Желтое пятно света лежит на ступеньках, на снегу у крыльца.

Упрямо прислонился к забору Никитин. Носок сапога чертит на снегу полосы... Затем в проеме дверей возникает силуэт. Но это уже не Зоя. Это капитан. Он выходит на крыльцо. Молчит, затем говорит в темноту:

— Ну что это за ребячество?..

Молчание. Хрустнул снег под ногами Никитина.

— Неужели вы думаете, что она должна?..

Молчание. Тишина.

Капитан насмешливо насвистывает “И я была девушкой юной”.

От забора отделяется фигура. Никитин проходит мимо капитана, тщательно вытирает сапоги. А капитан продолжает свистеть. Надо видеть при этом его лицо! Он входит вслед за Никитиным. Закрывается дверь. Гаснет желтое пятно.

— Добрый вечер, — говорит Никитин Зоя.

Она на полу, над огромным серым листом бумаги. Это будущий плакат. Руки ее в краске. Она слегка повернула голову и не очень доброжелательно:

— Добрый вечер...

— Присаживайтесь, — говорит Иван Терентьевич и сам садится.

Зоя рисует, не оборачивается.

Молчание.

Никитин сосредоточенно изучает потолок. Капитан посмотрел на Никитина, затем внимательно на Зою, покачал головой: ну и характер! Он берет со стола газету, разворачивает ее, делает вид, что углубился. Молчание. Пауза становится неприличной.

— Да, — продолжая читать, говорит капитан, — так о чем вы хотели со мной говорить?

— Кто, я?.. — удивлен Никитин.

Капитан неожиданно хлопает по газете:

— Вот!.. Высокомерием и чванливостью турки (*жест из-за газеты на Зою*) прикрывали обыкновенную слабость...

Никитин недоумевает.

— ...Но Измаил был взят. — Капитан подбадривающе подмигивает Никитину.

Никитин начинает понимать ход мыслей капитана.

— ...потому что русские (*решительный жест в сторону Никитина*) были упорны и настойчивы... а?

Никитин кивает согласно. Напряжение обстановки несколько спало. Молодец, капитан.

Зоя, не оборачиваясь:

— Вы забываете, что у русских был Суворов... Личность...

— Каждый — личность, — говорит капитан, словно рассуждая с самим собой, — если он знает, куда он идет, во имя чего жертвует собой, что он ненавидит и что любит... — Он возбужденно отшвыривает газету. Встает. — Все очень просто... — Он держит две ладони, как две чаши весов. — Есть добро и зло... люди и убийцы... Фашизм — это убийца... а?.. И его надо убить...

— Еще сильнее возбуждаясь, — что мы и делаем!.. Он уже чувствует на своей шкуре... придет время... скоро-скоро, когда последнего фашиста посадят в клетку... и будут возить по городам... смотрите!.. — Он смолкает, затем тише: — ... а многие не увидят... А жаль... А им бы и следовало это видеть... А они не увидят... Их застрелили, сожгли, повесили... Разбойники!.. — бормочет: — Разбомбили... разбомбили... — Он уходит в свою комнату.

Захлопнулась дверь.

Тишина. Это произошло с капитаном так неожиданно.

— Вся его семья погибла при бомбежке, — тихо говорит Зоя.

Она по-прежнему сидит на плакате. Оцепенение... О чем еще можно говорить?..

Никитин молча встает, одевается так, словно никого и нет в комнате, и уходит.

Зоя молчит.

Ночь. Пурга... Причудливые снеговые вихри катятся вдоль забора училища... Его наружная часть. Самая глухая. Голые кусты то пригибаются под ветром, то распрямляются, напоминая живые существа.

Никитин в карауле. Ни души. Только свист ветра, да шуршание сухого снега. Это очень тоскливо: пост, ночь, одиночество... Но в этом одиночестве в то же время есть и своя прелесть. Делай, что хочешь, думай... никто тебя не видит. Выдумывай. Озорничай.

Никитин идет по снеговой дорожке. Неожиданно становится в позицию, как во время занятий приемами штыкового боя. И воображаемый штык — в ближайший затаившийся куст. Отскочил. Со стороны это выглядит смешно... Холодно. Он идет, постукивая сапогом о сапог. Притоптывает на месте. Неожиданно притоптывание перерастает в нелепый перепляс.

Лицо Никитина сосредоточенно и довольно. Рот полуоткрыт. Свистит ветер... Заледенели брови...

Он не замечает, как совсем рядом в заборе отодвигается доска. В проем выглянула смутная фигура. С трудом, боком протискивается между досками. В руке — ведро.

Никитин, притоптывая, оборачивается. Замечает удаляющуюся фигуру.

— Стой!

Фигура неуклюже пытается скрыться...

— Стой! — Никитин вскидывает винтовку.

Фигура в нерешительности останавливается. Никитин приближается.

Теперь уже сквозь пелену снега видно: это женщина. Она закутана в платок.

— Ставь ведро! — командует Никитин.

Женщина ставит ведро на снег.

— А ну, подыми руки... и давай на три шага от ведра!

Испуганное лицо пожилой женщины. Она пятится... поднимает руки, насколько ей позволяет ее многослойное одеяние...

— Сыночек...

— Молчать! С часовым нельзя разговаривать... — Никитин еще точно не знает, что он будет делать с ней.

— Мне так и стоять с руками? — говорит она, всхлипывая.

— Будем ждать, пока смена придет. — Никитин решительно похаживает рядом с бабой. Остановился. — Ладно, опусти руки... Только не вздумай бежать.

Играет пурга на все мотивы. Посвистывает. Ходит Никитин три шага туда, три обратно.

— Ты сам откуда?.. — спрашивает женщина.

— Я сказал, разговоры нельзя... нельзя со мной...

Снова молча, так же решительно похаживает. Каждый шаг его говорит о том, что с ним эти женские штучки не пройдут.

— Ну, что я такого сделала? Сыночек... Обеды несут. Мне разрешили...

— А почему не через проходную? — спрашивает Никитин, незаметно для самого себя втягиваясь в разговор.

— Да куда же мне, миленький, в ночь... а дом ведь рядом... вот он дом... — Баба указывает в темноту.

— Сейчас мы посмотрим, что это за обеды... — Никитин подходит к ведру. Приподнимает крышку. От изумления даже присвистывает:

— И это обеды?! — Он вытаскивает большой кусок вареного мяса с костью. Трясет им перед лицом женщины: — Даже до войны такой кусок, знаешь... — Он говорит, а сам смотрит на мясо. От него исходит раздражающий аромат. Он глотает слюну... — Это из нашего курсантского котла... — говорит он, глядя прямо на мясо... И глотает слюну. И снова говорит: — Это из нашего котла... — И снова глотает слюну.

Женщина видит, как снег засыпает еду в ведре. Надвигает крышку.

— Ты не с Украины, хлопец?

Никитин прохаживается. В одной руке — автомат, в другой — кость с мясом. А метель метет... Снег бьет в лицо.

— Может, отпустишь, а, хлопчик? — она стоит, прислонившись к забору, сложив большие красные руки на животе.

Прохаживается Никитин.

— Отпусти, родненький... — она говорит это таким тоном, словно жалеет его. — Разве я разрешила бы себе такое?..

Проаживается Никитин.

Звучит голос Ивана Терентьевича: “Все очень просто... Есть добро и зло... Люди и убийцы...”

— ...У меня ж двое сынов на фронте... И со мной еще две младшеньких...

Никитин, расширив глаза, смотрит на нее, слушает, что она говорит. Кость неподвижна в его руке.

Голос капитана: “...Фашизм — это убийца, а?.. И его надо убить...”

— У тебя ведь тоже родители, — говорит баба. — Ну, отвесь ты меня...

Голос капитана: “...Скоро-скоро последнего фашиста посадят в клетку... И будут возить по городам... Смотрите!..”

— Я больше не буду, сыночек, отпусти меня, — просит баба.

Никитин молчит. Глаза потеплели. Может быть, его растревожила судьба этой пожилой женщины с большими красными руками и замерзшими слезинками на щеках.

— Часовой!..

Никитин не слышал, как подошла смена караула. Он резко поворачивается. Замирает. Руки по швам. В одной — автомат, в другой — кость.

— Что, с бабой на посту? — говорит разводящий.

— Товарищ старший сержант, вот... задержал... — торопится Никитин. — Это я сам...

— Что сам?

— Задержал...

— Вот теперь забирай ее и давай вместе в караулку. Там разберемся.

Плац. Пригнувшись, стоит Мурга. Он водит в “чехарду”. Вот легко, едва коснувшись пальцами его спины, перепрыгивает первый курсант, за ним — второй...

Мурга приподнял голову. Он видит, как от калитки удаляется Зоя.

Позабыв об игре, он распрямляется и бежит следом. Очередной курсант (Строков) уже заносит руки, чтобы оттолкнуться от спины Мурги, но под ладонями пустота. Он падает в снег.

— Зоя! — Мурга догоняет ее. — Привет...

— Здравствуйте, — говорит она.

— У нас как раз перекур, — торопливо сообщает он.

— Ну и что же? — серьезно спрашивает она, а глаза насмешливы. И потом, чтобы несколько рассеять собственную резкость: — Что же вы чай не заходите допивать?..

— Ааа, да, да... — смеется Мурга, — вот Юра вернется, и мы это...

— А что с ним?..

— Попал на губу товарищ Никитин.

— Да, у товарища Никитина сложный характер...

— Может, ему передать чего?..

— Передавайте, если хотите... Я-то при чем?

— Ага... Понятно... — Мурга надвигает ушанку на глаза. — Так, может, мы с вами завтра в кино сходим?.. У меня увольнительная.

— И долго он будет сидеть там, на вашей губе?..

— Да нет, пустяки, — Мурга словно ничего не понимает.

— Значит, я беру билеты, да?

— Что же он там делает?.. Просто так и сидит?..

— Никитин, что ли?.. Ну, сидит... Еще заявление накатал, чтоб на фронт отправили...

Голос с плаца:

— Мурга, кончай травить!

Мурга:

— Сейчас!.. — И снова к Зое: — Так договорились?

Зоя внимательно и холодно смотрит в глаза Мурге.

— А я думала — вы друзья...

У проходной училища, у распахнутых ворот крутится Зоя. Прошла, заглянув в ворота, вернулась, снова заглянула. Мимо проходят офицеры, курсанты... Поглядывают на нее. Наконец, она решается. Подходит к часовому у будки.

— У меня к вам просьба... — говорит она. — Вы не можете вызвать курсанта Никитина?

— А вы кто ему будите?

— Это не имеет значения...

— Как это не имеет?.. Если жена, мать, другое дело...

Из будки высунулась голова другого курсанта.

— Какая она ему мать?.. — смеется. — Вы жена его, что ли?..

— Вы можете позвать курсанта Никитина?

— Не может... Никитин на губе железно... И вообще, девушка, война...

— Что?..

— Отменяется любовь, ясно?

Зоя медленно уходит прочь от ворот.

— Ваша просьба, — говорит полковник сидящему напротив Ивану Терентьевичу, — удовлетворена.

Капитан волнуется. Он ведь не знал, как все обойдется.

— Да, да... Это очень хорошо...

— Вы садитесь, садитесь... Поедете... Только учтите, чтобы ни одна душа... Поедете с училищем... Все.

У ворот училища уже другой часовой. Снова к воротам подходит Зоя. Медленно и безнадежно. Прохаживается. Часовой поглядывает на нее. Участливо спрашивает:

— Вы ждете кого-нибудь?

— Да никого я не жду. — Она поворачивается и уходит. В глазах слезы.

— Товарищ лейтенант, курсант Никитин прибыл с гауптвахты.

— Ну как? — Командир взвода внимательно разглядывает впервые попробовавшего “губу”.

Никитин неопределенно пожимает плечами: что тут ответить?

— Подойдите, — говорит лейтенант. — Тут вот ваш рапорт... Рапорт... — Он исподлобья смотрит на Никитина. — Значит, командиров распустим, да?.. И давай всей толпой на передовую, да?.. Шапками, значит, закидаем...

— Нет, я понимаю, конечно... — говорит Никитин, — не...

— А я вот вас не понимаю, — обрывает лейтенант. И после непродолжительной паузы, тише: — Ты думаешь, мне не хочется? Да?.. Ты один такой, да?.. — И раздельно: — Поймите, Никитин, что т а м (*палец устремлен вверх*) без нас с вами знают — кого куда...

— Меня агитировать не надо... Я все...

— А я не агитирую. Я прикажу, и все. — И снова тихо: — Да ты знаешь, после того, как я два рапорта подал по этому делу, мне так всыпали, что я позабыл, где ручка, понимаешь, а где, понимаешь, чернила... Вот так. Ясно?.. Идите и приведите себя в порядок.

У дверей Никитин оборачивается.

— Что ж, мне теперь прямо к начальнику училища обращаться? — спрашивает он.

— Насчет чего? — не понимает лейтенант.

— Насчет фронта...

Вытянулось лицо комвзвода. Он мгновение молчит, борясь с негодованием. Затем тихо-тихо:

— Круу-гом!..

Казарма. За длинным столом начисто остриженный Никитин чистит автомат.

Дневальный положил трубку телефона.

— Никитин, на выход!..

Никитин подходит к нему.

— Срочно вызывает дежурный по училищу...

Никитин нахлобучивает ушанку, идет к выходу. Дневальный вслед:

— Насчет твоего рапорта, наверное...

Никитин, уже выходя:

— Может быть!..

Кабинет дежурного по училищу. За столом — Иван Терентьевич. На руке — красная повязка.

Никитин стоит, вытянувшись. Капитан мягко:

— Присядь... — Он смотрит на стриженую голову Никитина. Во взгляде — теплота, на губах — едва заметная улыбка. — Ну... Как идет осада Измаила?..

— Была маленькая передышка, — посмеивается Никитин, выразительно поглаживая стриженую голову.

Капитан понимающе кивает головой. Пауза.

— А как там турки? — тихо спрашивает Никитин.

Капитану, видимо, нравится, что Никитин принял эту форму разговора.

— По данным внутренней разведки, — говорит он, — противник почти готов капитулировать...

— Разведка может и ошибиться, — говорит Никитин, глядя прямо в глаза капитану.

— Нет, — говорит капитан, — заносчивость, конечно, есть... Но данные точны... Да, — и уже другим тоном: — Почему бы тебе в город не сходить?..

— Меня, может быть, пустят в воскресенье...

— Сегодня... сегодня... — раздумывая, говорит капитан. — Надо сегодня... На вот, — он протягивает Никитину уже заготовленную увольнительную, — в двадцать два ноль-ноль быть в казарме, — в спину уходящему Никитину: — и ни минутой позже!..

Сапоги врезаются в хрупкий ледок. Крошится ледок. Брызжет во все стороны вода. Весенний снег проваливается под сапогами. Они перемахивают через лужи, скользят на повороте...

Целые каскады льдинок и мокрого снега вырываются из-под них. Только у знакомой калитки они на миг замирают. И вот уже весь Никитин... Он глубоко вздохнул и уже медленно идет к крыльцу, медленно поднимается... Стучит.

Открывается дверь. На пороге — Зоя. Она, видимо, мыла голову, и волосы закручены полотенцем. Торопливым жестом она приглашает Никитина войти. Они проходят в комнату.



— Я сейчас, — говорит она, придерживая халатик рукой, — раздевайтесь.

Зоя спокойно проходит в кухню. И тут уж мгновенно срывает с головы полотенце, сбрасывает халатик, начинает ожесточенно причесываться... Руки не слушаются: она не то, чтобы торопит-ся, а взволнована... Очень. Бросает расческу, начинает суетливо натягивать свитер... И очень непринужденно:

— Что, погреться пришли?

— Нет, отчего же погреться... — почти про себя бормочет Никитин. — Сейчас не очень-то и холодно... — Он тоже взволнован. Стоит в нерешительности посередине комнаты... Переминается с ноги на ногу.

Зое наконец удается натянуть свитер.

— Я спрашиваю, погреться пришли? — Она снова с ожесточением причесывается.

— Нет, я просто пришел... — Хорошо, что она не видит сейчас его лицо.

Вошла.

— А у меня чай горячий есть, — в руках у нее большой чайник.

Она спокойна... То есть, ей кажется, что она спокойна. Белыми нитками шито ее спокойствие. Видно, как она напряжена.

— Я так и знал, что вы меня чаем угощать будете...

Она прямо с чайником проходит к буфету. Начинает доставать стаканы... Никитин решительно подходит. Берет чайник из ее рук. Она полуобернувшись. Мимолетная благодарность во взгляде.

Зоя расставляет стаканы. Никитин разливает чай. И снова неловкое молчание... Они сидят — каждый над своим стаканом. Только изредка поднимают головы и торопливо, мельком взглядывают друг на друга.

Со стены смотрит на них журнальная репродукция Джоконды.

Никитин пригубливает из стакана.

— Хороший чай...

— Да это же жженая корка, — смеется Зоя. Она перегибается через стол, вытаскивает ложечку из его стакана. — Эта роскошь нам не нужна.

— Фу, черт, совсем забыл! — Никитин бросается к шинели, извлекает из кармана небольшой бумажный кулек.

Разворачивается кулек, сыплется из него сахарный песок вперемешку с несколькими кусочками пиленого. Небольшой сахарный холмик высится на блюде.

Он берет один кусочек и кладет в стакан Зои, затем — еще один, и еще...

— А мне даже и не очень хочется, — говорит Зоя.

— Ты брось, — приговаривает Никитин и снова кладет, и еще, и еще... — Все девчонки любят сладкое...

Он сказал ей “ты”. Зоя смотрит уже не в стакан, а на него. И он почувствовал. И слегка замешкался. И чтобы выйти из положения:

— А купцы пили так, — говорит Никитин. — Чай в блюдецке. За щечкой — маленький кусочек сахара. Он усиленно дует, тарашит глаза... Картинно!

— А я тоже так буду, — она выливает чай в блюдце. Наполовину растаявшие куски сахара громоздятся в нем.

Она приближает блюдце ко рту на растопыренных пальцах и долго с шумом дует в него, и прихлебывает, и лукавые ее глаза устремлены на Никитина. Это очень смешно — как они пьют. Они смеются друг над другом... Они расшалились...

Зоя внезапно вскакивает, переносит патефон на стол, ставит единственную пластинку... Звучит “Неаполитанский танец” Чайковского. Трубит трубач.

— Давай потанцуем, — говорит Зоя, — я так давно не танцевала.

Никитин поднимается. И Зоя словно впервые видит его: он стал будто выше, стройнее. Он подтянут и уже не очень похож на того первоначального Никитина. Она переводит взгляд на его голову. Во взгляде ирония. Никитин понимает. Не очень ловко проводит ладонью по чисто стриженной голове.

— Это мой личный парикмахер меня...

— Хорошо иметь личного парикмахера.

Они танцуют. Никитин очень плохо умеет это... Зоя водит его вокруг стола. Играет трубач.

Перед глазами Никитина проплывают стены комнаты: вот Джоконда с едва заметной таинственной улыбкой на устах, маленькая географическая карта СССР — бумажные флажки обозначают линию фронта, окно... на стеклах еще сохранились крестообразные следы, фотография: отец, мать, в центре — Зоя в пионерском галстуке...

Танцует Зоя. Прямо перед ней — грудь Никитина. А на груди значки БГТО, ПВХО и ВЛКСМ... и надраенные пуговицы блестят... А чуть повыше — белый подворотничок облегает его шею, на подбородке — заметный светлый пушок... Никитин смотрит на нее. Одна-единственная случайная слеза выкатилась из ее глаза и застыла... О чем она подумала? Что растревожило ее?..

В передней скрипнула дверь. Входит мать Зои. Лицо усталое, платок лежит на плечах. Не снимая пальто, идет в комнату капитана, кивает на ходу Никитину. И тут же возвращается обратно, в руке листок бумаги. Садится.

— Что случилось? — спрашивает Зоя.

— Уезжает Иван Терентьевич. — Мать расстегивает пальто, — на фронт... отпросился все-таки...

Молчание. Все сидят как перед отъездом. Шипит забытая пластинка.

— Правильно сделал, — в тишине говорит Никитин.

— Мам, — говорит Зоя, — а он тоже написал заявление... на фронт.

— Вот денежный аттестат оставил... И проводить запретил...

— Мне пора, — поднимается Никитин.

Мать встает, сбрасывает пальто.

— Давайте поедим, ребята...

— Мне действительно пора, — Никитин надевает шинель.

— Вот в следующее воскресенье приду, тогда... До свиданья.

Он направляется к дверям. Зоя стоит неподвижно.

— Проводи человека, — говорит мать из кухни.

И Зоя, словно только этого и ждала, быстро набрасывает пальто, бежит следом.

Из кухни выходит мать. В руке кусок хлеба. Она мелко отщипывает от него, машинально ест... На столе — два стакана, патефон, горка сахара... Так же машинально ставит мембрану... Трубит трубочка... Она сидит, слушает.

Это уже весенняя ночь. Обледеневшие ветви деревьев прогнулись под тяжестью, но лед тает... Капель... И во всем этом какая-то особая красота, словно вся природа гармонирует настроению Никитина. Он идет вдоль этих ветвей, задевает их руками — и водопады льдинок обрушиваются на него.

Спит казарма. Только дневальный бодрствует, огромной шваброй драит пол. Никитину не до сна. Хочется с кем-то говорить, делать что-то. Он берет у дневального швабру, трет пол с ожесточением.

Спит казарма. А из репродуктора, что на дворе, на столбе, льется музыка. Какой-то запоздалый виолончелист из далекой Москвы играет что-то очень знакомое, приятное...

Будто и нет никакой войны. Тишина. Ночь.

Спит в своей комнате Зоя. Чему-то улыбается во сне...

Поглядывает на часы Иван Терентьевич...

Спит в своей казарме Никитин. Чему-то улыбается во сне. Тишину ночи неожиданно разрывает сигнал тревоги: Та-тра-та-та-та...

Из дверей казармы выбегают курсанты, на ходу затягивают ремни, становятся в строй.

Спит Зоя. Звучит труба в ее сне. Только это другой трубач. Он играет Неаполитанский танец. Улыбается во сне Зоя. Но вот постепенно в сказочную мелодию врывается труба тревоги. Она все слышней, слышней, и вот уже она преобладает...

Зоя мотнула головой. Вот-вот проснется... Но опять звучит труба с патефонной пластинки... Лишь мгновение... И уже совсем ясно, бесспорно сигнал тревоги.

Она открывает глаза. Приподнимает голову. Вслушивается: ТРЕВОГА... Она знает... Это только там могут играть, только в училище... Это неспроста... И еще сонная, неторопливо набрасывает на себя одежду, натягивает валенки...

Отчетливо звучит сигнал тревоги.

На крыльце дома, кутаясь в пальтишко, стоит одинокая фигура. Это она. А совсем рядом, в лощине, набирая скорость, утопая в клубах пара, уходит в ночь длинный эшелон.

Ничего не видно. Только слышен грохот колес идущего поезда. Верста за верстою... Во мраке: не то пулеметная дробь, не то сумасшедшая чечетка по стальному полотну, по стыкам... Сплошная темень. Но если взглянуть как следует, видно, что это стена леса мелькает перед нами, слившись в единое пятно. Идет эшелон. Постепенно редет лес, и в просветах между деревьями возникает сначала отрывочно, неясно, потом все яснее утреннее небо.

Стремительно поднимается солнце. Громадный багровый шар. А в этом золотистом освещении проплывают поля, мосты, деревенские дома...

Все цело... тихо. И стрелочники стоят возле будочек как часовые, спокойно и неподвижно.

Идет эшелон. Постепенно меняется пейзаж. Из него исчезают спокойные тона: мелькнула полуразвалившаяся стена с одним уцелевшим окном... на тихой глади реки, словно подбитая птица, покоится взорванный мост... и ни одной уцелевшей станции...

Война! Здесь она погуляла в полную силу!

Как отставшие от своих частей солдаты, мелькают черные печные трубы.

Идет эшелон...

На нарах вагона — Никитин. Он смотрит в распахнутую дверь... Невеселая картина... Рядом с ним Мурга... Он только сокрушенно покачивает головой, видя все это.

Постукивает, дрожа на ходу, металлическая задвижка теплушки...

В полумраке другого вагона, за перегородкой, покачиваются лошади...

На открытой платформе, на оружийном лафете спит, раскинувшись, солдат...

Вихрем пронесется встречный эшелон...

Смотрит в распахнутую дверь Никитин.

Подпрыгивая от толчков, карандаш движется по бумаге:

“...говорить не решался. В письме проще. Кончилась наша формировка. Теперь точно едем туда...”

В степи скрывается последний вагон эшелона...

В ровной степи, внезапно, обрываются железнодорожные пути. Они, очевидно, идут от главной линии. Это временные подъездные пути.

Уходит фронт — подтягиваются за ним линии.

В одном тупике уже стоит санитарный поезд. К другому, свободному, медленно подходит воинский эшелон. Останавливается. И на мгновение тишина. И в этой тишине вдруг совсем отчетливо слышны звуки канонады: “Бумм... бумм... буммммм...” Фронт. Кажется, он где-то тут недалеко, что-то естьстораживающее в этих впервые услышанных звуках. Может, потому и не выходят солдаты из теплушек... Они прислушиваются к новым звукам, к музыке войны, слышной воочию.

Переглядываются, ничего не говоря, два солдата в дверях теплушки... Во всех вагонах прислушиваются...

А меж поездами — длинный коридор. Он пустынен пока. И санитарный поезд словно вымер. Никакого движения...

Но вот в дальнем конце “коридора”, из теплушки выскочил солдат. Первый. Одинокая фигура отчетливо видна в пустом пространстве. Он машет руками, сгибается, разгибается... Засиделся!

И тут же, словно по команде, из всех теплушек посыпались, как горох, остальные.

Зашумела, загудела тесная “улочка”.

В дверях, в окнах санитарного поезда появляются заспанные санитарки. Они с любопытством наблюдают за происходящим.

Солдат с лукавыми глазами видит их. Он обомлел. Губы расползлись в улыбку.

— Воздух! — неистово орет он.

Мгновенно сработала тыловая выручка — несколько человек метнулись под вагоны, другие распластались прямо тут, под ногами товарищей.

И тут же повис над толпой и рассыпался залиvistый женский

смех с издевкой, а следом, перекрывая его, раздался солдатский хохот. Смеется тесная “улочка”...

Смеются Никитин и Мурга. Они еще не вышли из вагона.

— Здорово он их купил! — говорит Мурга.

А в открытом окне санитарного поезда, как раз напротив Никитина и Мурги, смеется санитарка. Она смеется и мельком поглядывает на них.

— А где вы воду берете? — спрашивает Мурга.

Девушка пожимает плечами. Усмехается. И в полуоборот говорит кому-то в своем вагоне:

— Слышь, Вер, спрашивает, где мы воду берем...

— А вы давно тут загораете? — пытается выправить заминку Никитин.

— Мы-то давно, — щурится санитарка, — а вы, сразу видать, только что. — И снова в вагон: — Вер, ты б видела, как они под вагон сиганули!.. — И смеется, заливаясь...

Смеются Мурга и Никитин.

А у эшелона идут будни. Кто моется, кто бреется, появились солдаты с котелками, видимо, начали раздавать пищу, а где-то и гармонь зазвучала... И если обойти эшелон, можно увидеть, как на полянке собираются вокруг гармониста солдаты и санитарки...

И вот уже две санитарки закружились, поплыли, танцуя.

А на вагонных ступеньках пристроился гармонист. Он сосредоточен...

Солнце идет к закату. За эшеломом тянется поле с леском на краю, поле, исковерканное глубокими колеями от колес, напоминающее лицо старика.

Теплушка. На доске, которая является “лавкой”, сидит Никитин. Ему хорошо видны танцующие, с одной стороны, и дверь санитарного вагона, с другой. Последний солдат торопливо протирает сапоги паклей. Звуки “пятак” привлекают всех...

Никитин смотрит на танцующих, лишь изредка повернется к санитарному вагону и встретится взглядом с санитарочкой... Она то и дело пробегает мимо, то из окна своего вагона высунется, что-то вытряхивает, то на ступеньках двери появится... Дежурит, наверное, у себя там...

К вагону подходит Мурга. Он начищен и наглажен, насколько это возможно в походной обстановке.

— Вас ждут лучшие женщины этого городка!

— Я что-то не вижу своей дамы, — улыбается Никитин.

— Пошли, потопчемся. Когда еще придется... — Мурга через открытую дверь заметил санитарку, хитро подмигнул Никитину: — Может, я мешаю?.. Ох, и тихоход ты!..

— Да брось... Я просто люблю смотреть, как танцуют... Потом подойду...

— Смотри!.. А то я быстро Зое накатаю...

Мурга вошел в круг, шутливым жестом остановил танцующих офицера и санитарку. Подхватил ее, козырнул офицеру и закурился по поляне.

Вдоль вагона пошагивает солдат с автоматом на груди. Часовой. Рядом с ним — санитарка. Они о чем-то говорят, посмеиваются...

Что-то очень мирное сквозит и в звуках гармоника и в спускающемся вечере... Даже звуки канонады стихли. Только гармоника, да шуршание сапог о траву, да смех, изредка доносящийся с площадки...

А Никитину интересно смотреть на эту парочку. Солдат с автоматом на груди и санитарочка все время прохаживаются вдоль вагонов. И так они заняты собой, своими разговорами, что, глядя на них, трудно себе представить, что где-то совсем рядом война.

Никитин уже не может оторвать взгляда от них... Звучит музыка, приглушенный девичий смех, шуршат сапоги по траве...

У часового вместо автомата — ребенок на руках... Он в белой сорочке с закатанными рукавами. И санитарочка, что рядом с ним, тоже в пестром платье...

И тут же все становится прежним.

Никитин облокотился о перекладину, смотрит...

— Так давно не танцевала...

Рядом с ним, в той же позе — Зоя. Она в черном свитере. Такой он ее видел в последний раз.

Затихают все звуки. Только далекая труба из “Лебединого озера” возникает, расплывается по вагону, сопровождает их разговор.

— Пойдем, потанцуем? — говорит Никитин.

— Давай лучше посмотрим, как танцуют... Я люблю смотреть...

Они усаживаются на пол вагона, устраиваются, как на представлении. Смотрят.

Вот огромного роста капитан. Он, как доска, прямой. Даже выгибается в обратную сторону. В этой осанке столько гордости и силы, что танцующая с ним хрупкая санитарочка кажется ребенком.

А Мурга танцует эмоционально. И комично. Смешно отто-

пыривается мизинец его правой руки. Он слегка подбрасывает ноги... А его партнерша смеется, очень даже...

Солдат, крикнувший “воздух”, неумело топчется с лейтенантом медслужбы, громадной полной женщиной, у которой из-под пилотки кокетливо выглядывают кудряшки...

Никитин и Зоя переглядываются и смеются...

— Ну разве эти люди могли бы жить по-другому? — говорит Никитин, глядя на танцующих.

— Или едет какой-то там хозяин, — перехватывает его мысль Зоя, — и мы должны кланяться... Представляешь? — Она смеется.

И Никитину смешно. Трудно представить себя в таком положении.

— А ты не боишься, что тебя убьют? — спрашивает Зоя.

— Нет уж, теперь пусть они боятся...

— Ты так и будешь сидеть? — это спрашивает Мурга. Он со своей партнершей стоит у вагона. — А ну, поднимайся...

Зои уже нет. Снова звуки “пяточка”...

Мурга вытаскивает Никитина из вагона.

— Только я танцевать не умею, — говорит Никитин санитарочке.

Она хохочет. Ведет его в круг. Никитин неистово вводит свою партнершу так, что остальные расступаются. А он выделяет неожиданные движения... А санитарочка хохочет... И все подхлопывают им...

Неожиданно обрывается музыка.

Все смотрят на гармониста. Расползлись через колено меха...

Смотрит гармонист куда-то поверх “пяточка”. Постепенно все головы поворачиваются в ту же сторону.

От передовой, вдоль эшелона, по разбитой дороге медленно, но твердым, тяжелым шагом приближается колонна солдат. Все ближе, ближе... Вот они поравнялись с “пяточком”, идут мимо. Они не держат ровного строя. По заросшим, усталым лицам видно, что они не многое успели... Только сейчас “оттуда”.

Смотрит Никитин, широко раскрыв глаза. Смотрят санитарки... Смотрят солдаты и офицеры эшелона. Так резко отличаются они, свежие, гладко выбритые, от фронтовиков.

Идет колонна. Может, они и уставшие, может, и не мылись давно, но сколько силы в их поступи, мудрости и опыта...

Смотрят фронтовики на “пяточок”. Идущий с самого края молодой с закатанными рукавами солдат скалит зубы:

— Чего стали? Танцуйте!..

— Не теряй время, братцы!..



Молча смотрит на идущих эшелон...  
Фронт идет!

Темно. Впереди идет связист. Одна катушка на спине, другая в руке. Следом, держась рукой за разматывающийся кабель, идет Никитин. Он шагает, согнувшись, высоко поднимая ноги. Свет ракеты выхватывает из темноты фигуру связиста. Он идет прямо, не пригибаясь.

Сбоку, вдали разрывается снаряд. Никитин бросается на землю, тянет за собой кабель.

— Что вы там делаете? — голос связиста.

— Ни черта не видно, — бормочет Никитин — как бы связист не понял действительной причины заминки. — Пошли, пошли. Все в порядке, — шепчет Никитин, поднимаясь.

Идут дальше.

— Польша, — тихо говорит Никитин.

— Польша, — равнодушно откликается связист.

— Заграница, — удивляется Никитин.

— Бедно живут здесь люди, — говорит связист. — Встречают хорошо.

— Я когда-то представлял: заграница — это ж... и природа совсем не та, и обязательно полицейские... а тут, как у нас, — говорит Никитин.

— Поднимайте повыше кабель, — просит связист, — трудно тянуть.

От далекого мощного залпа вздрагивает земля. Стремительно нарастает вой приближающихся снарядов.

Взрыв! Это очень мощный удар. Никитин бросается в первый попавшийся окопчик. Приник к земле, распластался. Пальцы легко впиваются в песок, мозг лихорадочно работает. Вместе со звуком приближающихся снарядов нарастает и звучит песня.

**ВЗРЫВ!**

“...Кудрявая, что ж ты не рада...”

...Комбайн. Юрка в пионерском гастуке. Он утопает в соломе. Размахивает вилами. Солнце, солнце... Много солнца... И он поет...

**ВЗРЫВ!**

“...Веселому пенью гудка!..”

...Юрка срывает дверцу с собачьей будки. С лаем и визгом вырываются на волю собаки. Собачник с длинной палкой спрыгивает с козел, гонится за Юркой...

**ВЗРЫВ!**

“...Вставай, не спи, кудрявая...”

Быстро приближается земля. Дух захватывает от стреми-

тельного спуска. Хохочет Юрка... Хорошо прыгать с парашютной вышки...

Вдруг тишина. Ни песни, ни взрывов.

Как из подземелья — голос связиста:

— Боятся, черти... темноты.

Улыбается Никитин. Приятно слышать после такого уверенный голос своего человека...

Они идут дальше.

— Ночью всегда так, — говорит связист, — бьют куда попа-ло... А сегодня после мощного драпа им удалось зацепиться...

Кустарник, песчаные холмики, а впереди — ракеты.

— Пришли, — говорит связист. Он сбрасывает катушку, приседает. Рядом Никитин.

— Это передовая? — спрашивает он.

— Она самая... — связист отползает в сторону и говорит кому-то в темноту: — Тут к вам, товарищ лейтенант...

— Кто ко мне, пусть заходит, — слышится из темноты хриплый бас с сильным кавказским акцентом. Словно из-под земли.

Подходит Никитин и видит: прямо перед ним, в окопе, прикрытом плащ-палаткой, сидят двое. Тускло чадит изоляция телефонного кабеля. Лица освещены призрачным, колыхающим светом.

Стараясь не задеть горящий кабель, Никитин сползает в окоп и прикрывает за собой плащ-палатку.

Наверху связист подключает полевой телефон.

— Меня временно назначили командиром роты, — сообщает полупшепотом Никитин.

— Может, мы раньше познакомимся? — громко спрашивает Палиев.

Он сидит в очень неудобной позе, прислонившись спиной к стене временного обиталища. В руках его непонятно откуда взятый лист бумаги и карандаш. Он явно рисует! Никитину это как-то совсем непонятно...

Напротив него, в той же неудобной позе — немолодой сержант Погорелкин. Он только глазами косит на вновь прибывшего. Ему нельзя шевелиться. Он позирует!

— Ты откуда? — спрашивает Палиев.

— Из штаба батальона, — говорит Никитин.

— Нээт, — разочарованно тянет Палиев, продолжая рисовать, — я спрашиваю, откуда ты?

— Родом, что ли?.. — не понимает Никитин.

— Из какого города приехал? — Палиев даже рисовать перестал.

— Ааа... Из Саратова, — наконец сообщает Никитин.

— О, интересно! — Он отложил бумагу и карандаш. — Ну, как в тылу?

Погорелкину страшно неудобно сидеть в избранной командиром позе. Он молящими глазами смотрит на Палиева, потом нерешительно говорит:

— Может, перекурим?

— Отдохни, отдохни, Погорелкин.

Никитину не терпится приступить к делу. И вообще, увиденное несколько разочаровало его. Он спрашивает:

— Сколько до противника?

Палиев, сворачивая сигарку, напевает:

— До тебя мне дойти нелегко,

А до нэмца — четыре шага...

Никитин не выдержал — смеется...

— Ну, так как там в тылу? — спрашивает снова Палиев.

— Слушайте, серьезно! — говорит Никитин. — Ну, а если немец вдруг в атаку...

— Да куда ему, — вмешивается Погорелкин, — он рад, что мы его не трогаем...

— Ты, парень, не беспокойся, — говорит Палиев. — Все будет в порядке... Ты лучше скажи: беременных женщин видел в тылу? А?

Никитин мнется. Вопрос необычен.

— Я думаю, должны быть, — спокойно, как бы отвечая самому себе, рассуждает Палиев. — Конец войне, а?.. Как думаешь, Погорелкин?

— Когда моя баба первым ходила, — говорил Погорелкин, — у нее живот бааальной был... Я даже гулять с ней стеснялся.

— А я нэт. Наоборот. Мне нравилось такое дэло. Большой живот — мужчина гордый должен быть.

Смеется Никитин, улыбается Погорелкин. Что-то такое произошло, непонятное... а этот неудобный, маленький окоп стал для Никитина знакомым и близким...

— Дайте хоть на себя погляжу, — говорит Погорелкин Палиеву.

Никитин склоняется к Погорелкину. Ему тоже интересно посмотреть, как рисует лейтенант.

— Аж страшно смотреть, — шепчет Погорелкин. — Больно похож.

— Действительно, — качает головой Никитин.

Под плащ-палатку просовывается круглое, добродушное лицо солдата. Это Терехин. Он секунду молчит, помаргивая на свет фитиля, затем Палиеву:

— Все сделано, товарищ лейтенант...

— Все, — говорит Палиев, поднимаясь. Он собрался как-то весь, движения точны и скупы. — Теперь будем докладывать комбату.

— Значит, это я себе беру? — спрашивает Погорелкин.

— Давай, подпишу. — Палиев берет рисунок, задумался и написал: “Погорелкину от Палиева. На память о пережитых страхах!”

Погорелкин и Никитин выбираются из окопа. Палиев говорит связисту:

— Дай мне комбата.

Никитин, стоя над окопчиком, видит многочисленные силуэты солдат, они копают траншею, слышно дыхание людей, постукивание лопат о грунт.

Голос Палиева:

— Так точно! Окончательно решено, да? Немножко непонятно. — Пауза и снова голос лейтенанта: — Война себе идет — я ехать куда-то должен... Непонятно... (Пауза.) Будет сделано! — Палиев выбирается из окопа.

Они все идут к позициям.

— Так вот, — тихо говорит Палиев, — комбат тебе передал, что это — не хор Пятницкого...

— Что “это”? — не понимает Никитин.

— Все это, — Палиев обводит рукой пространство. — До утра нужно очень хорошо спрятаться... Понимаешь? Ты не стесняешься прятаться, а?

— Я никак не пойму, — говорит Никитин, — вы старше меня по званию, и фронтовик... а меня командиром роты...

— Чудак, я в академию еду, в Москву... Понимаешь? Я студент уже.

Они остановились на стыке траншей.

— Я пойду к соседу, узнаю, как у них дела. А вы, Погорелкин, познакомьте командира с позицией.

Копают траншеи солдаты. Копает Погорелкин. Копает спокойно, уверенно. Рядом Никитин. Он тоже копает, немного лихорадочно. Посмотрел на Погорелкина:

— Успеем к утру?..

— А чего не успеть-то... — Он сплюнул на руки, потер.

— Только вы пореже, пореже, а то устанете...

Появляется Палиев, в руке у него добротная саперная лопата.

— Скоро соединимся с соседом справа, — говорит он, — везде работа идет хорошо... — Он смотрит на Никитина, который очень уж добросовестно копает грунт. — Товарищ младший лейтенант, Погорелкин, на минуточку за мной.

Они вошли в почти открытую траншею, остановились. Палиев внимательно смотрит на Никитина, спрашивает:

— Позиции посмотрел?

— Да, — говорит Никитин.

— Все понятно, — и заговорщически: — Фильм “Чапаев” видел?

— Конечно, — отвечает Никитин.

— Где должен быть командир, когда оборону копают?

Погорелкин незаметно хихикает...

— То, что копаешь — это хорошо... Но больше проверяй, за людей отвечаешь... — Он приседает на корточки, достает из кармана флягу. — Ну... давай, ты первый, Погорелкин.

Фляга в молчании проходит по кругу.

— Так, — говорит Палиев и поднимается.

— Уже уходите? — спрашивает Никитин.

— Да, пока тьма, надо идти. Не люблю, когда меня убивают.

Мгновение они молчат. Слышно, как копают землю невдалеке. Свет взлетающих ракет призрачно освещает лица. Приподнимается Палиев.

— Тебя как зовут? — спрашивает он Никитина.

— Юрий.

— Ты пока останешься здесь один! Понимаешь? — Он внимательно смотрит Никитину в глаза.

— Понимаю.

— Желаю тебе, Юра... Держись!

— Ну, Михаил Иванович. — Он подходит к Погорелкину, они обнимаются. — Напишу... Все. Спина Палиева исчезает во мраке траншеи.

— Погорелкин, соберите командиров отделений.

Никитин остается один. Теперь он “хозяин” этой земли. За все, что здесь произойдет, отвечает только он. Никитин молча осматривается. Над немецкими траншеями взлетают ракеты, часто и нервно. Слышно шумное дыхание работающих солдат. Глухие шлепки земляных комьев.

— Ну, что дальше?

Никитин поворачивает голову. Рядом стоит Зоя. Она одета так же, как в первую встречу. Кошелка слегка постукивает по коленям.

— Посмотрим, — говорит Никитин.

— И ты тут самый главный?..

— Да какой я главный!.. Главный... Позвоню сейчас комбату... Что они, с ума сошли?.. Ни одного офицера...

— Поплакаться хочешь? — насмешливо спрашивает Зоя.

— Что ты понимаешь! — возмущается Никитин. — За целую роту отвечать! Сейчас вот пемцы как возьмут, как атакуют... А?

— Да куда им, — спокойно говорит Зоя, — они сами рады, что мы их не трогаем... Видишь, как ракетами пуляют...

Никитин ухмыляется про себя...

Зоя внимательно поглядывает на Никитина...

— Ты боишься здесь?

— Что я, играть сюда пришел? — говорит Никитин. Он прохаживается по траншее, потирает руки, шепотом приговаривает: — Так, так, так...

Тревожный отблеск затухающих ракет судорожно освещают стены траншеи. Нет уже Зои.

Никитин срывается с места, сосредоточенно шагает по траншее. Подходит к телефонисту.

— Соедините меня с соседом справа... — Это Юпитер? Дайте третьего, — все это Никитин произносит торопливо, и вдруг, уже значительно мягче: — Сеня?.. Сеня, это ты?.. Это я... Ну, конечно... У меня все в порядке... Ты говори, говори... Что хочешь говори...

Слушает Никитин голос Мурги, посмеивается.

В предрассветной мгле взлетела последняя ракета и тотчас погасла, оставив за собой темную полосу.

Раннее утро. Искусно замаскированный бруствер. Змесю уходит в тыл ход сообщения. Это и есть передний край.

Никитин еще раз окидывает взглядом участок обороны, одобрительно кивает Погорелкину. Во всем облике Никитина, в походке, жестах сквозит что-то новое.

Они не спеша идут по траншее...

Редкие часовые дежурят в своих ячейках.

До слуха Никитина доносится приглушенный рассыпчатый женский смех. Он останавливается, удивленно прислушивается. Тянет шею и Погорелкин. И вдруг совсем недалеко разрыв гранаты, оттуда, откуда слышится смех... Никитин резко поворачивается, бежит туда, за ним и Погорелкин. Срывается с места солдат Николаев, в руке — граната, размахивается — граната летит в сторону немцев... Взрыв.

— Недолет... Эх ты... Метра три недобросил!..

Девушка в солдатской шинели через оптический прицел винтовки наблюдает за разрывом... Оторвалась от прицела... Хочет. И, махнув, другому солдату:

— Давай!..

Так же разбегается другой, успеваешь бросить... Подбегает Никитин.

— Отставить!..

Это он еще успеваает выкрикнуть, но тут же на траншее обрушивается ответный огонь немцев. Комьями летит земля на спины распростершихся на дне окопа людей... И тишина...

Никитин отряхивается, встает...

— Вы что?.. Совсем?.. — Он постукивает костяшками пальцев себя по лбу.

— Виноваты, товарищ младший лейтенант, — говорит Николаев.

— А вы?.. — грозно девушке...

— Прибыла для несения снайперской службы, — привычно, чуть небрежно рапортует девушка.

— Комбат на проводе! — докладывает подбежавший связист.

— Ладно, еще поговорим... — бросает на ходу Никитин.

— Что там у тебя? — голос комбата в трубке.

— Да... это самое... фрицы побудку устроили... ну мы им... и ответили...

— Молодцы, — комбат, успокоившись, — правильно сделали.

По траншее, вслед за слегка пригнувшимся Погорелкиным, идет девушка-снайпер. Уже совсем рассвело. Проснулась перedoвая. Идущий навстречу солдат с двумя полными котелками:

— Маша, привет...

Она на ходу молча пожимает ему запястье.

Другой солдат высовывается из ячейки.

— Коля, жив?.. — бросает она.

— Маш, ты мне еще с Бреста шелковые портянки сулишь! — тихо кричит третий...

Она кивает ему:

— Будут, будут...

Останавливается Погорелкин.

— Вот здесь тебе удобней будет, — говорит он.

Около своей ячейки топчется Терехин. Большие ботинки отбивают нелепый танец на не совсем еще затвердевшей земле.

Идет Никитин. Терехин поворачивается лицом к командиру, смущенно переминается... Заглядывает ему в глаза...

— Хотите что-то сказать, Терехин?

— Есть у меня подозрение, — говорит Терехин...

Никитин смотрит на усталое лицо солдата.

— Вы что это, так всю ночь и продежурили?

Молчит Терехин. Голова опущена.

— Почему сменщика не разбудили?

— Жалко было... Уж больно он раскинулся... — Не поднимая

головы, смущенно улыбается Терехин. И вдруг, согнав улыбку: — Подозрение у меня. Шебуршал кто-то на нейтралке ночью...

— Как шебуршал?

— Вроде, ползает кто-то... Поймать бы надо...

— Может, показалось?

— Может, показалось... А поймать бы надо.

— Вы думаете, это так просто?.. — смеется Никитин.

— Не, не просто... — серьезно говорит Терехин, — а поймать бы надо.

— Ладно, — бросает Никитин, уходя, — подумаем...

— Ну, ладно, — говорит вслед Терехин.

В уже оборудованную ячейку встает белокурая девушка-снайпер. Идет "примирение". Ячейка оказывается глубже, чем предполагалось: голова девушки скрывается на уровне бруствера. Она выходит из ячейки, говорит солдату:

— Немного подсыпать надо. Низко.

Солдат лопатой подсыпает немного земли.

Рядом солдат Блоха вертит в руках оптический прицел с ее винтовки.

— Хороша штучка!.. — он смотрит сквозь прицел — на ее сапоги, хромовые, тонкие, плотно облегающие икры, на бедра, едва заметные под шинелью, наконец, на профиль, нежный девичий профиль, обрамленный светлым венчиком рыхлых волос. Спокойное милое лицо.

Рядом, у блиндажа, пристроился Терехин. Он сидит на приступке траншеи. Между ног ставит котелок. Тщательно вытирает алюминиевую ложку. Готовится к завтраку. Он видит, как Блоха непростительно долго смотрит на девушку. Улыбается Терехин. Покачивает головой.

По траншее идет Никитин. Он видит, как рядом со снайпером начинает копать ячейку солдат Блоха, явно нарушая интервал.

— Что, интервала не знаете? — жестко говорит Никитин.

— Да здесь, вроде, грунт получше. — Солдат мнет в пальцах комок земли.

Оборачивается снайпер, улыбка тронула губы.

— Давайте в свою ячейку, — Никитин неумолим.

Покачивает головой Терехин, глядя на удаляющуюся спину Николаева.

— Ну, спасибооо, — говорит про себя Николаев.

Внимание Никитина привлекает оптический прицел снайперской винтовки. Он берет винтовку, становится на место снайпера. Смотрит. Долго смотрит... В сторону противника смотрит...

Двигается бугристая земля в стекле оптического прицела...



В стороне Николаев переглядывается с другим солдатом. Подмигивает ему. Смотри, мол, лейтенант меня убрал, а сам что делает... Какой-то странный командир. Просто влип в винтовку и смотрит... Девушка не выдерживает:

— Может, вы вообще за меня постреляете?

Никитин наконец возвращает ей винтовку.

— Вы не очень высовывайтесь! — говорит он, — оттуда, между прочим, стреляют...

— А мне, между прочим, тоже стрелять надо.

Никитин отходит и слышит за спиной:

— Маша, сколько ты их за войну уложила?

Замер Никитин. Прислушивается...

Голос Маши:

— Много, Коля, много...

Она присела в ячейке. Достала круглое зеркальце, мельком глянула в него. Ловким, едва заметным движением поправила светлый докон, выбившийся на лоб из-под каски. Спрятала зеркальце. И — за “работу”.

Идет ее железное дежурство.

Блиндаж. Погорелкин заканчивает завтрак. Он тщательно выбирает из котелка остатки каши. Наливает чай из огромного термоса.

Рядом — Терехин. Он расслабленно привалился к стене, сворачивает сигарку, покрхтывает.

Входит Никитин. Принимается за еду и, не отрываясь от котелка:

— Давно она в снайперах?

— Маша-то? — говорит Погорелкин. — Побольше года...

Никитин молча ест.

— Как оно получается... — рассуждает Погорелкин, — сначала все в куклы играет... потом у нее винтовка в руках... с прицелом... и она кого-то жизни лишает...

— Смотри кого, — говорит Никитин.

— Слышь, Погорелкин, — Терехин возится с самокруткой, — а вот, к примеру, в дом к тебе, Погорелкин, забрался бандит и всю твою семью порешил... И суд ему выносятся — расстрелять, потому как он для общества опасный... А тебе, Погорелкин, приговор в исполнение приводить...

Никитин с интересом прислушивается.

Погорелкин выжидательно ухмыляется:

— Ну-ну...

— Вот теперь расскажи, как ты его жалеть будешь?..

— Ну и Терехин! — говорит Погорелкин Никитину и Терехину. — Я ж про бабу...

— Вот дает, — крутит головой Терехин. — Ну, ладно... тогда возьмем так: идешь ты, стало быть, на охоту, Погорелкин. Попадается тебе берлога. В берлоге медвежата оставленные. Ты, Погорелкин, очень этому радуешься и запускаешь туда свою длинную руку... А тут, откуда ни возьмись, сама (*выразительный жест*) подбегает... Что ты ей в свое оправдание скажешь?

Посмеивается блиндаж. Терехин не дает Погорелкину вставить слово.

— ...Да ничего ты, Погорелкин, не скажешь... Она и спрашивать не будет... Она сразу тебя жалеть начнет... У, так она тебя, Погорелкин, пожалует!..

Погорелкин тоже смеется, мотает головой.

Прямо над блиндажом разрывается снаряд. Дрогнули стены. Посыпалась земля на плечи, в котелки...

Никитин ставит котелок с недоеденной кашей, выбирается из блиндажа. Идет по траншее. Обстрел усиливается. Все чаще ложатся мины.

Никитин подходит к месту, где устроилась снайпер. Он смотрит вперед. Руки машинально оправляют ремень: пусть снайпер, но она ведь девушка. Даже здесь это подтягивает. Сейчас он повернет голову, совсем слегка, и увидит ее. Она, конечно, стоит спиной к нему. Она занята своим делом. Видимо, он поравнялся с ней. Голову чуть повернул. Смотрит. Замедляет шаг. На лице улыбочное удивление, словно он хочет спросить: “Что это она там делает?..”

В ячейке, слегка осев всем телом, неподвижно застыла девушка-снайпер. Она почти касается коленями земли. Винтовка неестественно вздернута над окопом. Каска сползла на затылок. На спине, пониже лопатки, развороченная шинель...

Смотрит Никитин. Постепенно тень наползает на его лицо, и уже не удивление, а боль и крик, молчаливый, возникают на нем. Он стоит неподвижно. Какая-то сила сковала его. Только сами собой сжимаются кулаки. А в глазах — тоска...

Идет по траншее Погорелкин, говорит Никитину издали:

— Что ж пообедали, а не закурили... — И протягивает дымящуюся самокрутку.

Неподвижно стоит Никитин. Погорелкин прослеживает его взгляд.

Мертвая девушка-снайпер.

Молча и деловито берет Погорелкин девушку под мышки, бережно укладывает на дне траншеи. Каска откатилась в сторону, и теперь во всю красоту раскинулись русые волосы.

Никитин уже не смотрит на нее. Куда-то мимо нее устремлен теперь его взгляд. Он идет по траншее... И откуда взялся этот

ветер? Только сейчас его не было. А ветер усиливается, становится холодным, колючим...

...Поземка метет по единственной широкой улице ночной деревни. Тускло светятся редкие окна. И прямо посередине этой улицы, сутулясь, преодолевая ветер и снег, медленно движется расплывчатая фигура.

— Ну, за что ты меня, господи... за что... за что ж... — звучит сквозь завывание ветра однообразно, скорбно, навязчиво.

Скорбная фигура женщины проходит мимо трех парней. Они провожают ее молча, понимая. И уже скрылась фигура в темени, а голос ее еще не успел раствориться и затихает:

— ...За что, господи... за что...

Порыв ветра подхватывает снежный столб на крыльце правления колхоза. Вихрь поднимается выше. Туда, где над дверью, на мечущемся полотне:

**“ДА ЗДРАВСТВУЕТ 24-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!**

**СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!”**

Распахивается дверь в избу. Вваливаются три парня. Лица заиндевели. Самому старшему — лет восемнадцать. Двум другим — пятнадцать-шестнадцать лет. Один из них — Никитин. Младшие держат в руках балалайку и мандолину.

Широкая горница. Три керосиновые лампы — трехлинейки возвышаются на длинном деревянном столе вперешку с бутылками и тарелками с нехитрой деревенской закуской.

Под беленой русской печью, на лавке — три женщины. Самой младшей лет двадцать пять. Она молодая солдатка. Самой старшей за тридцать... Они поют что-то очень тихое, словно разговаривают шепотом. За пением не слышали, как вошли “кавалеры”. Да из-за печи не видно дверей.

Стоят, переминаются в дверях ребята, прислушиваются к тихим голосам, не решаясь нарушить настроение поющих...

Поют женщины. Нетерпеливо бренькнула струна!..

Самая старшая, видимо, хозяйка, бежит к дверям. Две другие быстро охорашиваются за печкой. От дверей доносятся неразборчивые голоса.

По улице села гуляет метель...

...А в избе уже сидят за столом. Уже выпито и съедено. Нет на столе порядка. Раскраснелись щеки, поблескивают глаза. Ребята воротники расстегнули. Младший из ребят, уставившись в тарелку, медленно жует... То ли стесняется, то ли голова отяжелела...

Поднимается старший. Медленно, не спуская взора с солдатки, идет к ней. И она смотрит, как он приближается. Без улыбки смотрит. Глаза широко открыты. Что-то большее, нежели приглашение к танцу, в его движении к ней, в его лице...

Звучит дуэт мандолины и балалайки. Знакомая довоенная мелодия... Никитин выводит мелодию на мандолине. Он немного вытянул шею, полуприкрыл глаза. Напарник неумело подыгрывает на балалайке, прижав ее к груди.

Танцует старший с солдаткой. Медленно танцуют, почти топчутся на месте...

Две других женщины стоят у стены, ждут своей очереди. Руки за спину заложила одна, другая сложила на груди. Они чувствуют себя немного неловко. Стоят, переминаются. На лицах то легкая улыбка, то грусть.

Играют "музыканты". Склонился к балалайке младший, откинулся мечтательно Никитин.

А пара топчется под неумелый "оркестр". Он совсем приблизился к ней, щека к щеке. Что-то шепчет серьезно. Она задумчива. Глаза прикрыла... В самозабвении этом — все, что словно осталось где-то за войной, словно все, что недотанцованно, недоласкано, вот сейчас должно произойти, за один этот вечер, в этой избе, в робких объятиях этого паренька...

Она открывает глаза. Смотрит на него. Потом на стоящих в ожидании подружек. Кивает ему на них.

Он подкруживает ее к печи. Со смешной, неуклюжей галантностью приглашает самую старшую. Она воспринимает это как должное. Они так же медленно кружатся по избе. С этой он не говорит. Он единственный "кавалер". Теперь он выполняет свой долг. Подводит ее к подругам.

Как и в предыдущий раз, приглашает среднюю...

Следят за танцем стоящие у печи женщины. Играют "музыканты".

И с нею он танцует недолго, даже искусственно как-то. Танцует, а сам все время поглядывает на младшую. Только два-три круга проделывает пара. Он снова подхватывает младшую. Она идет к нему стремительно, с желанием. Кружась, они движутся в глубину комнаты, за печь, к дверям. Вот их не видно.

Прислонились к стенке две женщины. Играют "музыканты".

Только нам видно, как, уже одетая, торопливо идет к дверям танцевавшая пара, хлопнула дверь...

Стоят у печи женщины. Они даже не смотрят друг на друга. Они понимают — те ушли.

Переглядываются с недоумением "музыканты". Тишина.

— А ну, давай там повеселей чего-нибудь! — неожиданно выкрикивает средняя. Она решительно выступает вперед.

И ударяют музыканты, не сговариваясь.

Полузакрыв глаза, покачиваясь слегка у печи, поет частушки старшая:

— Продолжается война,  
Я одна, одна, одна...

И через такт медленно двинулась по горнице средняя. Она не то чтобы танцует. Руки откинута в сторону, голова почти запрокинута. Лицо каменное. Она словно идет за кем-то, словно тянется к кому-то...

— Я — и лошадь, я — и бык,  
Я — и баба и мужик...

Мелодия в быстром темпе. Наверное, под нее можно танцевать и весело. Только веселого в этом танце, пожалуй, лишь похожая на гримасу улыбочка, которую так и не успел согнать с лица младший парнишка.

— Ехали солдаты, ехали матросы.  
Всех зовут Иванами. Курили папиросы...

Идет, словно не слыша музыки, средняя. Упрямо идет, расставив руки. Так ловят в жмурки...

— Ах ты, Гитлер, Гитлер, Гитлер,  
Сколько крови моей выпил!

Никитин видит, что со средней происходит что-то неладное. По каменным щекам бегут слезы. Будто и не ее — чужие.

А старшая поет еще громче, еще пронзительнее:

— За миленка своего  
Не прощаю ничего.

И, не выдержав собственного молчания, забила на широкой лавке средняя, все так же молча.

И сразу тишина. Оборвали “плясовую” “музыканты”... Смотрят растерянно.

Суетится над бьющейся в истерике старшая. Поглаживает ее по голове, что-то шепчет на ухо.

Растерянно стоят посредине избы “музыканты”. Безвольно повисла в руках балалайка и мандолина. Постепенно успокаивается, затихает на лавке солдатка. И вот уже лежит она неподвижно, уставившись в потолок, одна рука ее касается пола... И во всю красоту раскинулись ее русые волосы.

Только за окном бесится вьюга...

Блиндаж. Входит Погорелкин, старик в штатском, сзади — Терехин. Встает Никитин. Смотрит на входящих. Повзрослел

младший лейтенант. Щетинка покрывает лицо, щеки слегка ввалились, серьезный и пристальный взгляд.

— Задержали гражданского, — говорит Погорелкин.

Старик без головного убора. Седые редкие волосы слиплись на высоком лбу. Короткос пальтишко. Из рукавов высовываются красные жилстые кисти рук. Старик высок и худ. Из-под распахнутого пальто виднеется чистая белая рубаша. В руках у него — пустой, свернутый мешок.

Терехин переминается у входа. Под глазом у него — здоровенный синяк.

— Это он на нейтралке шебуршал...

— Его, когда брали, — говорит Погорелкин, — он старик-старик, а Терехину вон как врезал...

— Пан поляк? — спрашивает Никитин.

— Поляк, — не очень дружелюбно говорит старик, — поляк.

— Шпион, — не очень уверенно бормочет Терехин.

Старик молча с презрением косится на Терехина.

— Он из нашей траншеи в сторону, понимаешь, фрица выбирался... — говорит Погорелкин.

— Зачем лезть туда, старик? — спрашивает Никитин.

— Там дом мой был, — объясняет старик, и с достоинством: — Картофель — в погребке... Есть надо?..

— У фрицев, что ли?

— Вот фриц, — жестикулирует старик, — вот вы... Погреб здесь.

Он обозначает нейтральную полосу.

— Получается, на нейтралке, — говорит Погорелкин.

— Я вашему начальнику говорить буду, — сердится старик, — мою картошку берете... Ничего не осталось уже...

Никитин выразительно смотрит на Погорелкина. Тот отрицательно качает головой.

— А если ваши не берут, тогда герман берет, — говорит старик.

Соображает Никитин... Загорелись глаза... Вот возможность!.. Он кивает Терехину на старика. Терехин выводит задержанного. Никитин принялся быстро ходить по блиндажу. Потом Погорелкину взволнованным шепотом: — Понимаешь, какая возможность!..

— Это я понимаю, — чешет в затылке Погорелкин.

— ...сам в руки лезет!..

— Да это я понимаю... Самовольно нельзя, без комбата...

— Можно, Погорелкин (*убежденно, страстно*)... Мы его сами возьмем... Я его возьму... Так надо, Погорелкин!..

— Роту оставлять нельзя...

— Ты останешься за меня, Погорелкин... Я не могу такое упустить!..

Ночь. Стык двух траншей. На дне траншеи присел старик. Медленно прохаживается по траншее Погорелкин. Подойдет к стене, оглядится в темноту, прислушается — ничего... Глядит на свои кировские часы, неодобрительно мотает головой... И снова ходит. Одинокая короткая дробь автомата... Погорелкин весь — слух и внимание. Оборачивается к старику, грозит пальцем:

— Ну, гляди, старик, если соврал...

Из темноты, пригнувшись, подходит Мурга. Коснулся плеча Погорелкина:

— Здорово, Погорелкин... — на старика: — А это кто?..

Погорелкин в сердцах машет рукой.

— Начальство у себя? — Мурга кивает на блиндаж.

Погорелкин отводит его в сторону. Рассказывает ему шепотом.

Медленно поднимается старик, вглядывается в темноту. Тишина. Потом, оглянувшись, заправляет мешок за пояс брюк, легко переваливает через бруствер...

— Меня тут не было! — возмущается Мурга. — Ты-то как его отпустил?!

— Понимаете, товарищ младший лейтенант, — обстоятельно говорит Погорелкин, — не в себе он... Тут у нас третьего дня снайпериху убило... Вот он и не в себе... Я это замечаю...

— Давно ушли?

— Третий час пошел.

Погорелкин оборачивается — старика нет. Кидается по траншее. Мурга за ним.

— Ушел, черт! — шипит Погорелкин, — ...заговорился я... Вот сволота!.. Ушел... Ну, что теперь?.. — он беспомощно разводит руками.

— Тссс, — Мурга приложил палец к губам.

Слышно частое дыхание ползущего человека. В траншею переваливается Николаев:

— Ну, спасибо, — отряхивается Николаев.

— Остальные где?! — кидается к нему Погорелкин.

— Идут, вот они...

— Старик-то утек... — говорит Погорелкин.

— Ай-яй-яй, — смеется Николаев.

В траншею переваливаются Никитин, старик, Терехин.

Отряхивается от земли Николаев, говорит:

— Картошка есть, а фриц не пришел... Зря только лазали...

Две жестяных кружки сталкиваются на фоне чадящего светильника.

— Что я, нянька тебе?.. — словно заканчивая разговор, говорит Мурга.

— Ну ладно, Сеня... Об этом хватит... Ты умница, я — разгильдяй... Больше я никогда не буду... — Никитин подтрунивает.

— Ладно, — говорит Мурга, ему полегчало... — А эту давай выпьем за одного человека... Чтоб ей было хорошо...

Пьют. Крякнули. Закусили.

— А помнишь, Сеня, — улыбается Никитин, — пока я на губе сидел, ты под этого человека клинышки подбивал?..

— Да ты что?!

— В кино ее приглашал...

Мурга на мгновение потерялся, но быстро выходит из положения:

— Да я ж ее проверял!.. Для тебя и старался!.. Преданность ее проверял...

Они смеются. Постепенно посерьезнел Никитин. Мурга разливает остатки из фляги по кружкам.

— Если бы ты знал, как мне эта оборона обрыдла!..

— Говорят, скоро пойдем, — говорит Мурга. — Я в тыл ездил... Там такое наготовили... Что тыныгы!

— ...Стукнет какой-нибудь пулей дурацкой... вот так, ни за что...

— Как же это ни за что?.. — удивляется Мурга.

— Другое дело в бою, в атаке... а тут... — махнул рукой.

Входит Погорелкин. В руке мешок.

— Сводил я его в батальон. Они его уже знают... Он, оказывается, старый блиндаж себе приспособил... Деревня сгорела, а уходить не хочет...

— А чего с мешком ходишь? — спрашивает Мурга. Он из-за спины Никитина, растопырив два пальца, предлагает Погорелкину выпить.

Погорелкин осторожно жмурится: нельзя, мол.

— Старик позабыл, — и уже уходя: — комбат сказал только на нейтралку старика не пускать.

— Я тоже влип, Юра, — говорит Мурга. Он захмелел немного. Потянуло на откровенность.

Никитин вопросительно смотрит на него.

— Ты не поверишь... рядом война, чтоб ее!.. А у меня любовь... ей-богу!.. — он зажмуривается, и словно про себя: — Она сидит у телефона (*подражает ей*): “Весна... весна... весна...” (*пальцем — в уголок рта*) и здесь вот складочка, веришь?..

Внимательно, с улыбкой слушает Никитин. А Мурга распаляется.

— Я говорю: “Люся, взяла ты меня в плен...” Это ее Люся зовут, ты понял, да?.. А она говорит: “Лучше, Сеня, ко мне, чем к фрицам...” Ты понял, да?! — смеется, потом наклоняется к



Никитину, победно: — Майоррр Сироткин на вороных, гад, подъезжал, а она ему — нна! — показывает кукиш.

Никитин лукаво:

— Сеня, а как же девочка твоя, помнишь?.. Горка во дворе... папа в Осоавиахиме?.. Саночки...

— Когдаа это было... И потом время, расстояние... — Мурга встает, возбужденно прохаживается по блиндажу, подходит к Никитину и дружески: — Вот здесь складочка, смотри (*показывает*), вот здесь...

— Ну, как ты с ней?.. Какие отношения?! — спрашивает Никитин.

— Ты чтооо, она насчет этого строгая.

Хохочет Никитин.

— Чего ты смеешься? — говорит Мурга и сам начинает хохотать.

Они стоят посередине блиндажа, как два молодых бычка, лоб в лоб, и похлопывают друг друга по плечам.

Рассвет. По траншее, слегка пригнувшись, движется девушка в шинели. В руке — винтовка с прицелом. Она, очевидно, снайпер. Мы видим ее со спины. Она очень похожа на ту, погибшую. Те же кудряшки русые выбиваются из-под каски. И рост тот же... За ней, пригнувшись основательней, торопится младший лейтенант. На лице напряжение. Как чувствуется даже в походе неискренность, первая встреча с передовой...

— Здорово, Катя! — приветствует ее один из солдат.

Она кивает, идет дальше.

— Катюша, привет!.. — кто-то другой.

Она приветственно машет рукой. Николаев кивает ей и по-свистывает вслед:

“Расцвели яблони и груши...”

Не оборачиваясь, указывает рукой младшему лейтенанту:

— Вот блиндаж... — а сама продолжает движение по траншее.

Новичок останавливается у входа. Старательно расправляет складки шинели, поправляет каску, в руке у него — тощий вещмешок. Он осматривает его, вертит, не знает, что с ним делать. Потом оставляет его у входа. Приподымает “полог”.

Прямо от входа четко рапортует в полумрак землянки:

— Товарищ лейтенант, младший лейтенант Батров был...

Знаю, — говорит Никитин, — мне звонили.

Он разглядывает новичка. Совсем молодой этот младший лейтенант. В глазах — слишком много возбужденного любопытства.

— Садитесь, — Никитин показывает на снаряжный ящик, — вот сюда можно...

— Тут меня по дороге обстреляли, — делится Батров.

— Только вас и прислали?

— Да пока они там то да се... я решил поскорей... отпросился... С трудом прорвался... Я и под обстрел попал по дороге... Да. А остальные подойдут...

— У нас тут пока тихо, — говорит Никитин, раздумывая о чем-то своем.

— Я думал, сразу в перепалку попаду, — говорит новичок, — а у вас тут совсем тихо...

— Ну, как в тылу? — спрашивает Никитин.

— Да так как-то... Хорошо, в общем... Салюты... Вы меня сейчас со взводом познакомите?

— Можно и сейчас, а можно и попозже...

— Давайте лучше сейчас, — почти просит Батров. Он встает, проверяет складки на шинели, прихорашивается.

В траншее, удобно устроившись, разложив на коленях шинель, Терехин здоровенной иглой пришивает пуговицу. Он делает это методично. Успевает при этом затянуться из ненормально толстой самокрутки. После каждой затяжки бережно кладет ее сбоку на приступочек. При каждом стежке высовывает кончик языка. Чем ответственной стежок, тем сильнее высовывается язык.

— На всю жизнь пришиваете, Терехин?

Терехин так увлекся, что не заметил, как подошли Никитин и Батров. Он встает, и Батров с восхищением смотрит на его грудь, сплошь увешанную орденами и медалями.

— Наш самый старый вояка, ветеран, — представляет Никитин.

Терехину приятно, он даже напыжился немного, и Никитину говорит деловито:

— Опять ночью шебаршал кто-то. — Кивает в сторону нейтралки.

— Ладно, подумаем, — говорит Никитин, проходя.

— Ну, ладно... — говорит Терехин.

Сразу, за поворотом траншеи, в знакомой ячейке — знакомая девичья спина!.. Никитин остановился, замер... Девушка-снайпер прильнула к винтовке... Выстрел... Качнулось плечо, вздрогнули знакомые кудряшки... Оторопел Никитин, смотрит. А Батров переводит взгляд с девушки на Никитина, и снова... Понимающе прищурился...

— Это... уже мой участок? — спрашивает он.

Поворачивается девушка на звук голоса. Совсем другое лицо.

— Пошли, — говорит Никитин Батрову, и проходя мимо снайпера: — Зря-то не высовывайтесь...

— Ничего, — говорит она, — всех не убивают. — Она перезаряжает винтовку и снова — к прикладу, к прицелу...

— Хорош окопчик, — говорит Батров и похлопывает по стенке траншеи. Он вытягивается во весь рост и выглядывает через бруствер...

И тотчас засвистело вокруг...

— Птицы, — говорит Батров, — откуда здесь птицы?..

Никитин резко дергает его за руку. Заставляет присесть...

— Если такая птичка... — шипит Никитин и пальцем тычет в висок, — все кончится... Птицы...

Батров понял. Лицо его вытянуто. Он был на волоске...

Серая тень бесшумно вползает в погреб, что на нейтральной полосе. Зарывшись в картофельную кучу, как привидение, затаился Терехин. Зажат в руке автомат. Он весь в ожидании... Тишина. Явственно доносится с немецкой стороны звук далекого патефона. Мелодия просачивается в погреб, изредка прерываемая одинокими выстрелами... Свет от взлетающих ракет падает в погреб, на мгновение освещает лицо Терехина. Оно как застывшая маска.

— Я не шпион, — это говорит старик-поляк. Он разворачивает перед Никитиным пакет...

— Знаем, знаем, — говорит Никитин... — Все уже выяснили... Ходить сюда нельзя...

— Вот, — говорит старик, не слушая Никитина. Он кладет на стол старую фотографию.

Никитин смотрит. На ней — молодой, с закрученными усами солдат царской армии.

— Это я, — тычет пальцем в фото старик. Потом он кладет на стол два Георгиевских креста. — Я не шпион...

Никитин с интересом разглядывает старые награды, покачивает головой.

— Все это хорошо, — говорит Никитин. — Придет время, мы тебе и картошку вернем, и всю Польшу... А сейчас ходить сюда не надо, могут убить.

Старик отворачивает полу пальто, показывает чистую рубашку.

— Что? — не понимает Никитин.

Старик усмехается...

— Чистую рубаху надел, — говорит связист, — приготовился, значит.

— Боевой старик. Никитин пригибается, гладит пса, что пришел со стариком. Дает ему сухарь...

— До видzenia, — говорит старик.

— Терехин “языка” достал!.. — На пороге блиндажа — Погорелкин.

Видно, как он взволнован. Никитин даже привстал.

— Как “языка”? — не понимает Никитин.

— Самовольно забрался в погреб старика на нейтралке и там его, значит, и достал.

Погорелкин отворачивает полог, машет рукой...

Входит немец. В руках — мешок с картошкой. Он весь в грязи, без головного убора. Сзади него, понутив голову, появляется Терехин. Он виновато переминается у входа...

Никитин садится на ящик, нервно постукивает носком о землю, молчит.

Терехин понимает — хорошего ждать нечего. Сейчас ему влетит.

— Прошлый раз, — не поднимая головы, говорит Терехин, — сами-то зря сходили... ну... вот я и достал его... Шебаршит всю ночь прямо под носом... нахальство какое... — Терехин внешне даже разозлился.

Никитин перекрывает ладонью глаза... трудно сдержать подступающий смех... Он снимает трубку телефона:

— Товарищ комбат, я — первый... “Языка” взяли... Терехин... Ну да... Когда? Есть! Хорошо.

Переминается немец в уголочке. Прислушивается...

— Как же ты его заставил картошку тушить? — спрашивает Никитин.

— Еле поспевал за ним... — поднял глаза Терехин (гроза прошла). — Отъелся в обороне... — кивает он в сторону немца, — ему уже не мешает побегать немного. — Терехин пригнулся, гладит пса... — кабыздох голодный.

А Никитин смотрит на немца. Тот почти слился со стеной блиндажа. И лишь мигающий свет коптилки изредка вырывает из темноты очертания его лица. Смотрит на немца Никитин. Долго... И в наступившей тишине все постепенно поворачивают головы в сторону немца. Смотрят, будто сговорились... Все пристальней взгляд Никитина, острее глаз... Тяжелые веки нависли над зрачками... Исподлобья смотрит Никитин на немца...

Немцу становится не по себе. Он хорошо ощущает на себе эти глаза... Он не выдерживает этого взгляда... ему некуда деться... хочется втереться в стену, исчезнуть, провалиться... Немец переминается с ноги на ногу...

И, будто почувствовав устремленные взгляды всех присутствующих, собачонка поляка с дикими воплями бросается к немцу, хватая его за ноги, рвет башмаки...

Поднимается старик, зовет пса, поглядывает на мешок с картошкой...

— Бери свою картошку, — говорит Никитин.

Старик поднимает мешок. Он тяжел. Старик покачивается, ставит мешок...

— Давай подсоблю, — говорит Терехин.

Старик смотрит на него не очень приветливо. Он все помнит. Снова пытается поднять мешок.

— Я не шпион, — говорит он.

— Ладно сердчать-то, — говорит Терехин, — давай помогу. — Он взваливает мешок на спину.

Старик выходит вместе с ним.

Старик и Терехин выбираются из хода сообщения. Идут. Старик — впереди. Он знает дорогу. Они удаляются от передовой. Изредка посвистывают пули. Легкая слепая ночная перестрелка, когда не слышны выстрелы, а только посвист пролетающего свинца.

Старик во весь рост шагает по грязи. Оборачивается.

Идет следом Терехин. Согнулся под тяжестью мешка...

Идет старик. Губы плотно сжаты. Громадные узловатые ладони выделяются на черном пальто. Он снова оборачивается...

Там, на расстоянии шагов пятнадцати, прислонившись к мешку, сидит Терехин. Отдыхает.

Старик присаживается на ком земли, ждет. Водит пальцем по земле. Смотрит в сторону Терехина. Машет ему: пошли, мол...

Терехин сидит неподвижно.

Старик решительно подходит.

Сидит Терехин, прислонился к мешку... Глаза прикрыты. Кровь течет по щеке с виска. Неподвижен Терехин. Автомат — на груди.

Осторожно берет Терехина на руки старик. Несколько картофелин высыпались на землю.

Идет к передовой старик-поляк. На руках его — Терехин...

Над холмиком земли, неясно сереющим в ночи, над холмиком, на котором лишь каска, неподвижно замерли силуэты Никитина, Погорелкина, старика-поляка...

В темном небе — черные силуэты оружейных стволов. Они распрямляются, поднимаются выше...

Словно ниоткуда, медленно вращая одноглазую голову, тянется стереотруба...

По ходам сообщения, по траншеям, со стороны тыла, вливается на передовую поток пополнения, словно небольшие речки, разливаются по пустовавшим руслам. Неясные фигуры солдат проходят, пригнувшись, молча...

Во всем этом — какая-то настороженность, но в то же время — и возбуждение, предчувствие чего-то большого и долгожданного.

Над немецкими позициями все чаще, все лихорадочнее взлетают ракеты...

В потоке солдат возвращается к себе на передовую Никитин. Он идет медленно. Поток омывает его с двух сторон.

— Жалко Терехина...

Рядом с ним — Зоя. Она в халатике, в том самом, в котором он застал ее однажды. На голове — тюрбан из полотенца. На ногах — смешные домашние тапочки... Она семенит с ним рядом, на ходу запахивая халатик, заглядывая ему в лицо... Ветер. Холодная ночь. Поздняя осень. Лужи под ногами...

— Жалко — это не то слово, — говорит Никитин.

— ...Теперь его матери пришлют извещение...

— Кому она сейчас нужна, жалость?..

— ...а он у матери один был...

— ...дышать нечем... Вот что происходит...

— ...да, если бы и не один... все равно жалко...

— ...Ну, ничего... теперь пусть они сами себя жалеют!.. Сами этого хотели.

Они движутся в потоке. Поток то разъединяет, то вновь соединяет их, сталкивает... он торопится, спотыкается... На ходу она касается пальцем его щеки:

— А тебе уже бриться можно по-настоящему...

— ...они сами заставили меня позабыть про жалость...

— Чего? — спрашивает поравнявшийся солдат.

— Что? — оборачивается к нему Никитин.

Но солдат молчит. Идет рядом. Потом спрашивает тихо:

— Товарищ лейтенант, сперва артподготовка будет, да?..

Поток уносит солдата. Взлетают ракеты. Колеблющимся их светом время от времени заливают пространство. Спины уходящих солдат... Штыки...

Теперь уже в траншеях не пусто. Плечом к плечу стоят солдаты, новые люди, незнакомые лица... В этом раннем утре перед атакой траншеи насыщены до отказа деятельностью, дыханием, напряженной тишиной.

Откапывается рукав шинели. Кто-то смотрит на часы. Круп-

но — циферблат часов. Большая секундная стрелка, подрагивая, торопится по кругу. Так-так-так-так... Стук ее нарастает, усиливается... и...

Взрыв!..

Все сливается в единый грохот. Уже не слышно отдельных выстрелов, залпов... Дрожит земля вокруг...

...Прижался к стенке младший лейтенант Батров. Каска нависает на глаза. Торопливо затягивается...

...Перематывает портянку Николаев, не спеша, по-деловому...

...Заряжает автоматный диск незнакомый солдат...

...Никитин, опустившись на корточки, разложив планшетку на колене, пишет:

“...Прошу мой оклад пересылать Терехиной Анне Михайловне по адресу: Калужская область, Ковельский район, деревня Васильевка...”

...Рядом сидит Погорелкин. В руке у него — фляга. Он протягивает Никитину полный стаканчик...

Пьет Никитин.

Грохот все усиливается. Говорить — напрасно, не слышно слов.

В рассветном полумраке неожиданно возникает светлый небольшой комок... Это собака старика-поляка... Неизвестно, как она проникла сюда... Она перебегает от одного к другому, вертит своим хвостом: она рада встрече... На шее у нее обрывок толстой веревки... Чьи-то руки тянутся погладить ее... Лица людей неподвижны... Кто-то сует ей кусок сухаря... Собака ест, поводит впальными боками... И снова чьи-то руки проходят по ее спине... И другие руки...

В серое небо взлетает зеленая ракета!

В грохот разрывов врывается, нарастая, “ураааа!”. Оно катится волной, не утихая. Канонада звучит уже в глубине. Зато явственнее и мощнее вал наступающих.

Вот уже пройдена первая линия немецких траншей. Теперь дальше. Рядом с Никитиным Погорелкин, связист с рацией за спиной Николаев. Они врываются во вторую линию траншей. Никитин бросается к немцу, припавшему к пулемету. С ожесточением всаживает в него очередь.

Главное, не останавливаться. Не терять ритм атаки! Впереди еще одна линия. Группа Никитина, оторвавшись от основной массы наступающих, достигает третью, последнюю линию немецкой обороны.

И только теперь до слуха Никитина со стороны уже пройденной второй траншеи доносится ожесточенная пулеметная дробь.

Никитин оглядывается назад. Никого. Он понимает: “заработала” не подавленная огневая точка противника. Заминка.

— Ты гляди, гляди, — Николаев подтолкнул локтем Никитина.

Со стороны маленького леска прямо на участок Никитина движутся два немецких танка. За ними пехота. Бежавшие немцы, почуяв заминку нашей атаки, успели перегруппироваться и при поддержке двух танков решили, видимо, контратаковать.

— Вызывай комбата! — кричит Никитин связисту.

— Первый, первый, я — Заря, я — Заря! Как слышите? Прием.

Николаев спокойно устанавливает ручной пулемет... Смотрит на приближающиеся танки Никитин.

А сзади захлебывающаяся дробь пулемета.

К Никитину подходит Погорелкин. У него в руках три противотанковых гранаты. Он кладет гранаты рядом с Никитиным на бруствер. Смотрит прямо в глаза командиру.

— Давай! — говорит Никитин.

Погорелкин незаметно выбирается из траншеи. Ползет в тыл, в сторону второй линии траншей. Туда, где непрерывно стучит вражеский пулемет.

— Первый, я — Заря, — шепчет Никитин. — Слушайте меня внимательно. Нахожусь в третьей линии. Нас контратакуют при поддержке двух танков. Перенесите огонь артиллерии квадрат 46,21... 46,21. 46,21...

— Как поняли? Прием.

Ползет Погорелкин. Где-то совсем рядом стучит пулемет. Крепко зажат автомат в руке. Как змея, приник сержант к земле. Прислушивается... Чуть изменив направление, ползет дальше. И вдруг сзади, совсем рядом, — взрыв! Второй, третий...

Шквал артиллерийского огня несется на третью линию траншей... Николаев будто влип в ложе пулемета. Сцепил губы. Только губами что-то шепчет. Подрагивает плечо. Фонтаном отскакивают гильзы.

Совсем рядом рвутся снаряды. Совсем рядом — один оставшийся немецкий танк.

Пальцы плотно облегают рукоятки трех связанных противотанковых гранат... Еще секунда... Ближе, ближе...

— Ну-у! — кричит связист, на мгновение оторвавшись от автомата.

Никитин размахивается...

Размахивается Погорелкин... Бросает гранату!

Связка противотанковых гранат, описав дугу, точно ложится под гусеницу танка.

**ВЗРЫВ!!!**



И вместе со взрывом мощное “Урааа!..” Оно катится все ближе и ближе...

Выскакивает из траншеи Никитин. Он бежит по полю, подхваченный порывом. Весь подался вперед. Мальчишеская шея вытянута. Пальцы впились в тело автомата до синевы. Испачканное лицо в поту. Оно как маска. И только глаза громадные, полные неистовства, остановившиеся.

Очередь! Туда, вперед, где убегающий враг...

Постепенно из хаоса видений, проносящихся перед ним, все отчетливей, реальней и конкретней вырисовывается движущийся предмет. Еще секунда, и это уже спина бегущего человека-немца.

Болтается на затылке каска... Подпрыгивает на спине меховой ранец... Человек бежит неуклюже, слегка подпрыгивает... Как большой загнанный заяц...

Никитин теперь видит только этого человека. И автомат его направлен только туда. Не меняя направления, не останавливая бега, он дает очередь...

Немец метнулся в сторону... Нет, он не ранен. Он просто понял, что эта очередь была предназначена ему... Он бежит, но нет сил свернуть в сторону, уйти от губительного огня. Словно загипнотизированный, бежит он только прямо, только на виду автомата...

Очередь... мимо.

Очередь... Мимо...

Спотыкается немец. Слетает с головы каска... И перед Никитиным — круглый шар головы, лысина, обрамленная седым венцом.

Задыхаясь и прихрамывая, бежит немец...

Покачивается лысина перед глазами Никитина.

Спотыкается немец, падает, быстро разворачивается к Никитину, ползет к нему на коленях...

Большое, немного бабье лицо его с выпученными глазами не то в слезах, не то в поту... Ползет...

— Кляйне киндер... ниht шисен... гитлер капут... кляйне киндер... — Трясущаяся рука показывает, какие у него маленькие дети.

Никитин остановился в двух шагах от немца. Как вкопанный. Глаза налиты кровью. Волосы слиплись на лбу. Рука слилась со скобой автомата.

Ползет немец... Просит пощады.

Вот она, встреча с глазу на глаз!..

Ползет немец... Неподвижно застыл Никитин... Палец — на скобе автомата...

Ползет немец...

Никитин делает медленный шаг к нему... Еще шаг... и побежал, минуя стоящего на коленях, туда, вперед, куда ушла атака...

Выпученные от страха и еще больше от недоумения глаза немца... Трясущиеся губы... Он встает, размахнувшись, далеко отшвыривает автомат... Высоко поднимает руки... До предела... Идет навстречу наступающей армии...

Мимо него тянут орудия, идут солдаты, где-то стороной топят танки...

Идет немец, подняв руки...

Грузовики, колонны солдат, никто не обращает на него внимания...

Идет немец, подняв руки...

Прямо на бруствере знакомой траншеи, во весь рост, вытянув по старенькому пальто громадные узловатые ладони, стоит старик-поляк.

Идет мимо немец, подняв руки...

Смотрит старик...

Все меньше фигура немца... Все меньше...

В грохот боя постепенно врываются звуки ликования... И вот уже они преобладают...

Ликуют освобожденные города: Варшава... Прага... Вена... Будапешт...

А навстречу камере все идет сквозь ликующие города немец, высоко подняв руки... Большие глаза по-прежнему широко раскрыты, но в них уже — не страх... В них — вопрос, и ожидание, и надежда...

## **Песенка о каплях Датского короля**

С детских лет поверил я, что от всех болезней  
капель Датского короля не найти полезней,  
и с тех пор горит во мне огонек той веры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры !

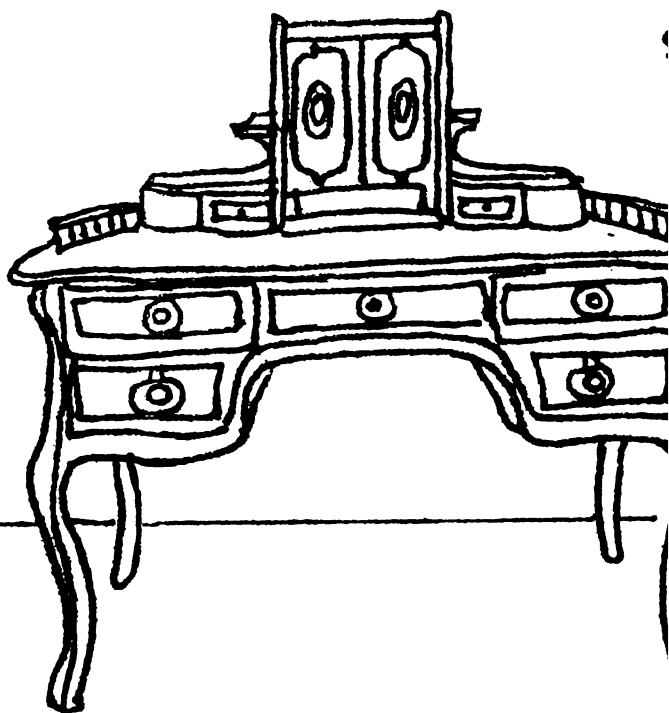
Капли Датского короля или королевы —  
это крепче, чем вино, слаще карамели  
и сильнее клеветы, страха и холеры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры !

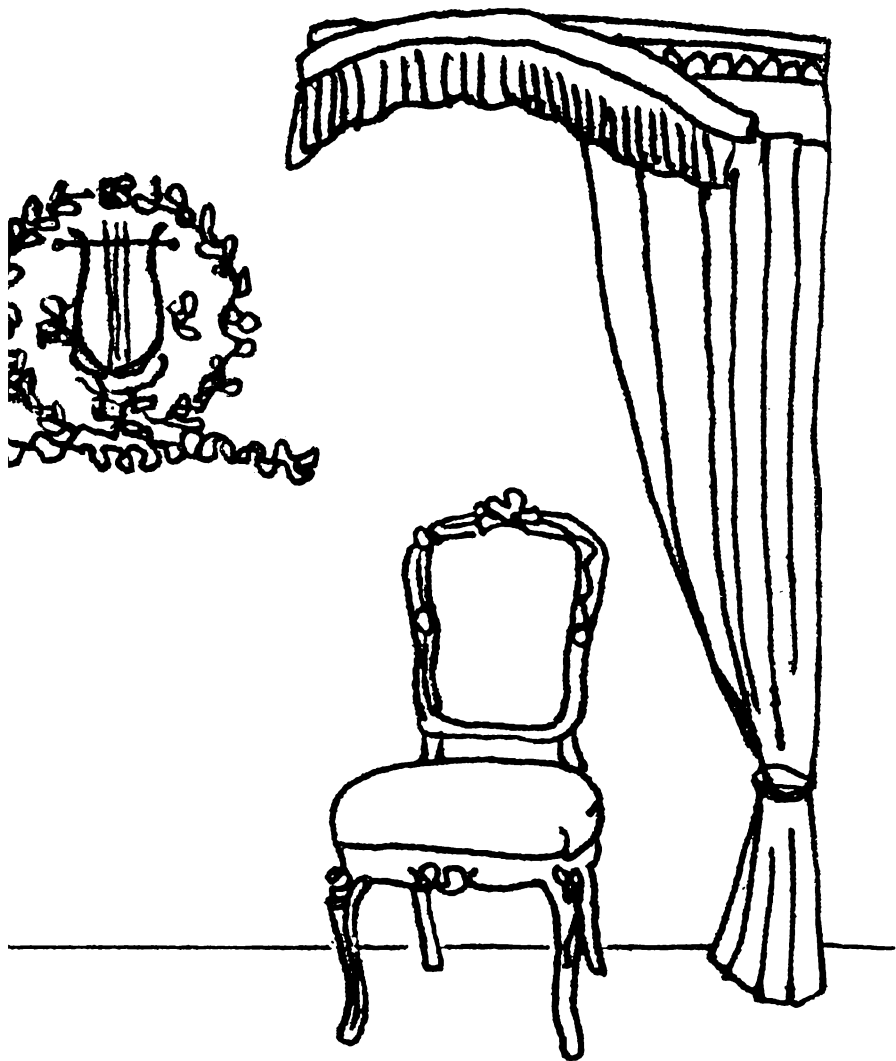
Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель  
растворяются легко в звоне этих капель.  
Солнце, май, Арбат, любовь — выше нет карьеры...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры !

Слава головы кружит, власть сердца щекочет.  
Грош цена тому, кто встать над другим захочет.  
Укрепляйте организм, принимайте меры ...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры !

Если правду прокричать вам мешает кашель,  
не забудьте отхлебнуть этих чудных капель,  
перед вами пусть встают прошлого примеры ...  
Капли Датского короля пейте, кавалеры !

Белый свет я обошел, но нигде на свете  
мне, представьте, не пришлось встретить капли эти.  
Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры  
капли Датского короля пейте, кавалеры !





## Ваше благородие госпожа разлука ...

*П. Луспекаеву*

Ваше благородие госпожа разлука,  
мне с тобою холодно, вот какая штука.  
Письмецо в конверте  
погоди — не рви...  
Не везет мне в смерти,  
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа чужбина,  
жарко обнимала ты, да мало любила.  
В шелковые сети  
постой — не лови...  
Не везет мне в смерти,  
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа удача,  
Для кого ты добрая, а кому иначе.  
Девять граммов в сердце  
постой — не зови...  
Не везет мне в смерти,  
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа победа,  
значит, моя песенка до конца не спета !  
Перестаньте, черти,  
клясться на крови...  
Не везет мне в смерти,  
повезет в любви.

1967

## Красотки томный взор...

Красотки томный взор не повредит здоровью.  
Мы бредим с юных пор : любовь, любви, любовью...  
Не правда ли, друзья,  
Не правда ли, друзья,  
С ней, может быть, не сладко,  
А без нее нельзя?

Вперед, судьба моя!  
А нет — так бог с тобою.  
Не правда ли, друзья:  
Судьба, судьбы, судьбою?  
Не правда ли , друзья,  
Не правда ли, друзья,  
С ней, может быть, не сладко,  
А без нее нельзя?

Он где-то ждет меня,  
Мой главный поединок.  
Не правда ли, друзья,  
Нет жизни без поминок?  
Не правда ли, друзья,  
Не правда ли,  
Жить, может быть, не сладко,  
Да вот не жить нельзя?

## Романс о любви

Соединение сердец —  
старинное приспособление:  
вот-вот уж, кажется, конец —  
ан снова, смотришь, потепленье.  
Вот-вот уж, кажется, пора,  
разрыв почти увековечен...  
Но то , что кажется с утра,  
преображается под вечер.

Соединение сердец —  
старинное приспособление...  
Но если впрямь настал конец,  
какое, к черту, потепление?  
И если впрямь пришла пора,  
все рассуждения напрасны :  
что было — сплыло со двора,  
а мы хоть врозь, но мы — прекрасны:

И в скорбный миг, печальный миг  
теряют всякое значенье  
все изречения мудрых книг  
и умников нравоученья.  
Понятны только нам двоим  
истоки радости и муки...  
И тем живем.

На том стоим  
и утешаемся в разлуке.

## Песенка мушкетеров

Слава — отрава, да честь дорога.  
Нету покоя отныне и впредь.  
Смилуйся, боже, — пошли мне врага:  
было бы ради чего мне в бою умереть.

Шпага все разрушит споры.  
Пей, безумствуй и коли...  
Чем храбрее мушкетеры,  
тем бодрее короли.

Что наша жизнь? Поединки и кровь!  
Полдень в трактире, а полночь в седле.  
Смилуйся, боже, — пошли мне любовь:  
было бы ради чего мне пожить на земле.

Шпага все разрушит споры.  
Пей, безумствуй и коли...  
Чем счастливей мушкетеры,  
тем хвастливей короли!



## Песенка о соломенной шляпке

Соломенная шляпка золотая,  
с головки вашей ветрено слетая,  
еще не раз пленять собой могла.  
Но лошадью какой-то офицерской  
с гримасою какой-то изуверской  
она внезапно съедена была.

Подумаешь — соломенная шляпка!  
Безделица какая-то и тряпка!  
Не платье, не пальто и не жакет...  
Но без нее вокруг прелестной дамы  
такие шли сражения и драмы,  
что, собственно, и создало сюжет.

Все старые, а пуще — молодые, —  
храните ваши шляпки золотые,  
храните до конца, и в этом соль...  
Когда над головой грохочут громы,  
способна даже пригоршня соломы  
сыграть в судьбе решающую роль.

## Лакей кружится...

Лакей кружится.  
Под снедью ломятся столы — день будет жарок.  
Вино искрится.  
Как подрумянены бока у всех цесарок!  
Повсюду слышится счастливый хор кухарок...

Время счет ведет подробный.  
Париж,  
тебе не снился стол подобный!

Оркестр играет.  
Река цветет без берегов. И гость отличный  
благоухает, —  
и так изыскан и умен, хоть не столичный,  
и к торжествам на высшем уровне привычный.

Время счет ведет подробный.  
Париж,  
тебе не снился гость подобный!

Жених с невестой.  
Сердца как пара угольков, глаза — как вишни.  
Сюжет прелестный:  
какая пара, боже мой, здесь третий лишний.  
А если что-нибудь не так — прости, всевышний!

Время счет ведет подробный.  
Париж,  
тебе не снился брак подобный!

## Песенка человека, решившего жениться

Женюсь!  
Какие могут быть игрушки?  
И буду счастлив я вполне...  
Но вы,  
мои вчерашние подружки,  
напрасно плачете по мне.

Не плачьте, сердце раня.  
Смахните слезы с глаз...  
Я говорю вам : “До свиданья!”—  
Расставанье не для нас.

Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта!  
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета.  
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета!  
Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта...

Женюсь!  
И холостяцкие пирушки  
затихнут, сгинут без следа...  
Но вы,  
мои вчерашние подружки,  
со мной останетесь всегда.

Не плачьте, сердце раня.  
Смахните слезы с глаз...

Я говорю вам: “До свиданья!”—  
Расставанье не для нас.

Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта!  
Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета!  
Надеюсь, всевышний меня не осудит за это...  
Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта...

## Песенка об утраченных надеждах

Один корнет задумал славу  
прекрасным днем добыть в бою.  
На эту славу, как на карту,  
решил поставить жизнь свою.

И вот когда от нетерпенья  
уже кружилась голова,  
не то с небес,  
не то поближе  
раздались горькие слова:

“Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет,  
все дело в том, что, к сожаленью,  
войны для вас пока что нет”.

Тогда корнет решил жениться  
и взять в приданое мильон.  
Нашел в провинции невесту  
и под венец помчался он.

И вот, когда от вожделенья  
уже кружилась голова,  
не то с небес,  
не то поближе  
раздались горькие слова:

“Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет,  
все дело в том, что у невесты  
приданого в помине нет”.

Тогда корнет бежать решился  
из-под венца. Какой скандал!  
На остановку дилижансов  
он в черном фраке прибежал.

Когда ж от близости спасенья  
уже кружилась голова,  
не то с небес ,  
не то поближе  
раздались горькие слова:

“Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет,  
все дело в том, что в дилижансе  
свободных мест, представьте, нет”.

## Романс Книгиной

В юности матушка мне говорила,  
чтоб для любви свое сердце открыла.  
Видно, другие пришли времена.  
Бедная, как заблуждалась она.

Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве,  
костры былой любви навеки в них погасли.  
И лишь один среди них сам ангел во плоти,  
но где его найти? Но где его найти?

А у меня душа — она почти из воска:  
податлива, тонка, наивна, как березка.  
Душа моя щедра, но что вам от щедрот?  
Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет!

С юности встретить мечтаю поныне  
друга, представьте, я в каждом мужчине.  
Я беззащитна пред вами стою.  
Что же вы топчете душу мою?

## Там, за седьмой горою...

Там, за седьмой горою,  
Там, за недоброй тучей,  
Не знаю , наяву или во сне,  
Живет мой принц прекрасный,  
Немного невезучий,  
И каждый день, и каждый день  
Вздыхает обо мне.

И каждый день упрямо,  
И так до самой смерти,  
Пришпоривает быстрого коня!  
И все кусты сирени  
На всей земле, поверьте,  
Он оборвал, он оборвал,  
Представьте, для меня.

**Есть муки у огня...**

Есть муки у огня,  
Есть радость у железа,  
Есть голоса у леса —  
Все это про меня.

В моем пустом доме  
Большое ожиданье...  
Как листьев оживанье  
Неведомо к чему.

И можно гнать коня,  
Беснуясь над обрывом,  
Но можно быть счастливым  
И голову клоня.

И каждый день и час,  
Кладя на сердце руку,  
Я славлю ту разлуку,  
Что связывает нас.

**К чему нам быть на “ты”, к чему?**

К чему нам быть на “ты”, к чему?..  
Мы искушаем расстоянье.  
Милее сердцу и уму старинное —  
Я пан, вы пани.

Какими прежде были мы!  
Приятно, что ни говорите,

Услышать из вечерней тьмы:  
“Пожалуйста , не уходите”.

Я муки адские терплю,  
А нужно, в сущности, немного —  
Лишь прошептать: “Я вас люблю,  
мой друг, без вас мне одиноко”.

К чему мы перешли на “ты”?..  
За это нам и перепало:  
На грош любви и простоты,  
А что-то главное —  
пропало.

## В нашем старом саду...

В нашем старом саду, там, где тени густые,  
Отчего же слова ты мне шепчешь пустые?  
Отчего же слова ты мне шепчешь пустые?

В нашем старом саду листья поздние падают с клена...  
Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно?  
Отчего на меня не глядишь ты влюбленно?

Дорогое лицо незнакомо и строго...  
Ах, как мало любви, а печали так много!  
Ах, как мало любви, а печали так много!

В нашем старом саду, где судьба мне тебя подарила,  
Разве сердце свое я тебе до конца не открыла?  
Разве сердце свое я тебе не открыла?..

## Проводы юнкеров

*К. Померанцеву*

Наша жизнь — не игра, собираться пора!  
Кант малинов и лошади серы.  
Господа юнкера, кем вы были вчера,  
а сегодня вы все офицеры.

Господа юнкера, кем вы были вчера  
без лихой офицерской осанки?  
Можно вспомнить опять (ах, зачем вспоминать?),  
как ходили гулять по Фонтанке.

Над гранитной Невой гром стоит полковой,  
да прощанье недорого стоит.  
На германской войне только пушки в цене,  
а невесту другой успокоит.

Наша жизнь — не игра, в штыковую, ура!  
Замерзают окопы пустые...  
Господа юнкера, кем вы были вчера?  
Да и нынче вы все холостые.

### Песенка кавалергарда

Кавалергарды, век недолог,  
и потому так сладок он.  
Поет труба, откинут полог,  
и где-то слышен сабель звон.  
Еще рокочет голос струнный,  
но командир уже в седле...  
Не обещайте деве юной  
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,  
и взгляд туманится слегка,  
и все как будто под рукою,  
и все как будто на века.  
Но как ни сладок мир подлунный —  
лежит тревога на челе...  
Не обещайте деве юной  
любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы  
продлить пытаетесь, смеясь.  
Не раздобыть надежной славы,  
покуда кровь не пролилась...  
Крест деревянный иль чугунный  
Назначен нам в грядущей мгле...  
Не обещайте деве юной  
любви вечной на земле!

1975

## Солнышко сияет, музыка играет...

Солнышко сияет, музыка играет —  
отчего ж так сердце замирает?  
Там, за поворотом, недурен собою,  
полк гусар стоит перед толпою.  
Барышни краснеют, танцы предвкушают,  
кто кому достанется, решают.

Но полковник главный на гневной кобыле  
говорит: "Да что ж вы все забыли!  
Танцы были в среду — нынче воскресенье,  
с четверга война — и нет спасенья!  
А на поле брани смерть гуляет всюду,  
может не вернемся — врать не буду!"

Барышни не верят, в кулачки смеются,  
невдомек, что вправду расстаются.  
Вы, мол, повоюйте, если вам охота,  
да не опоздайте из похода.  
Солнышко сияет, музыка играет —  
отчего ж так сердце замирает?..

## Старинная солдатская песня

Отшумели песни нашего полка,  
отзвенели звонкие копыта.  
Пулями пробито днище котелка,  
маркитантка юная убита.

Нас осталось мало: мы да наша боль.  
Нас немного, и врагов немного.  
Живы мы покуда, фронтовая голь,  
а погибнем — райская дорога.

Руки на затворе, голова в тоске,  
а душа уже взлетела вроде.  
Для чего мы пишем кровью на песке?  
Наши письма не нужны природе.



Спите, братцы, — все придет опять:  
новые рождаются командиры,  
новые солдаты будут получать  
вечные казенные квартиры.

Спите себе братцы, — все начнется вновь,  
все должно в природе повториться:  
и слова, и пули, и любовь, и кровь...  
Времени не будет помириться.

1973

## Песенка о дальней дороге

*Б.Золотухину*

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,  
когда луны колеса затренькают по тракту,  
и силуэт совиный склонится с облучка,  
и прямо в душу грянет  
простой романс сверчка.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,  
та гордая, та злая, слепая и святая...  
Что — прелесть ее ручек? Что — жар ее перин?  
Давай, брат, отрешимся.  
Давай, брат, воспарим.

Жена, как говорится, найдет себе другого,  
какого-никогого, как ты, недорогого.  
А дальняя дорога дана тебе судьбой,  
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Покуда ночь длится, покуда бричка катит,  
дороги этой дальней на нас обоих хватит.  
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?  
Чего не потеряешь — того, брат, не найдешь.

От сосен запах хлебный,  
от неба свет целебный,  
а от любви бедной сыночек будет бледный.

А дальняя дорога...  
а дальняя дорога...  
а дальняя дорога...

1967

### **Вот какая-то лошадка...**

Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок,  
и какая-то карета застывает у дверей,  
и красавицы какой-то льется чистый голосок:  
“Отвези меня, возница, на Луару поскорей!” ...

Пускай лошадка поспешит  
сквозь полночь наугад...  
А там без нас Господь решит,  
кто прав, кто виноват.

Там каштановые рощи, водопады и луна,  
и какой-то древний замок, по обличью нежилой,  
и какие-то надежды, где утешится она,  
и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой...

Пускай лошадка поспешит  
сквозь полночь наугад...  
А там без нас Господь решит,  
кто прав, кто виноват.

Отвези ее, возница, поскорее, а не то —  
жизнь помчится, словно птица, неизвестно почему,  
что еще важней, чем это, что еще грустней, чем то...  
Отвези ее, возница, и не спрашивай, к кому...

Пускай лошадка поспешит  
сквозь полночь наугад...  
А там Господь без нас решит,  
кто прав, кто виноват.

1984

## Дождик осенний

Жаркий огонь полыхает в камине,  
тень моя, тень на холодной стене.  
Жизнь моя связана с вами отныне...  
Дождик осенний, поплачь обо мне.

Сколько бы я не бродила по свету,  
тень моя, тень на холодной земле.  
Нету без вас мне спокойствия, нету...  
Дождик осенний, поплачь обо мне.

Все мы в руках у молвы и фортуны.  
Тень моя, тень на холодной стене.  
Лютни уж нет, но звучат ее струны.  
Дождик осенний, поплачь обо мне.

Жизнь драгоценна, да выжить не просто.  
Тень моя, тень на холодной стене.  
Короток путь от весны до погоста.  
Дождик осенний, поплачь обо мне.

1984

## Дорожная песня

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,  
И хор в нашу честь не споет...  
А время торопит, — возница беспечный, —  
и проснутся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,  
не смолк бубенец под дугой...  
Две вечных подруги — любовь и разлука —  
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами  
счастливую тройку впрягли,  
и вот уже что-то сияет пред нами,  
но что-то погасло вдали.

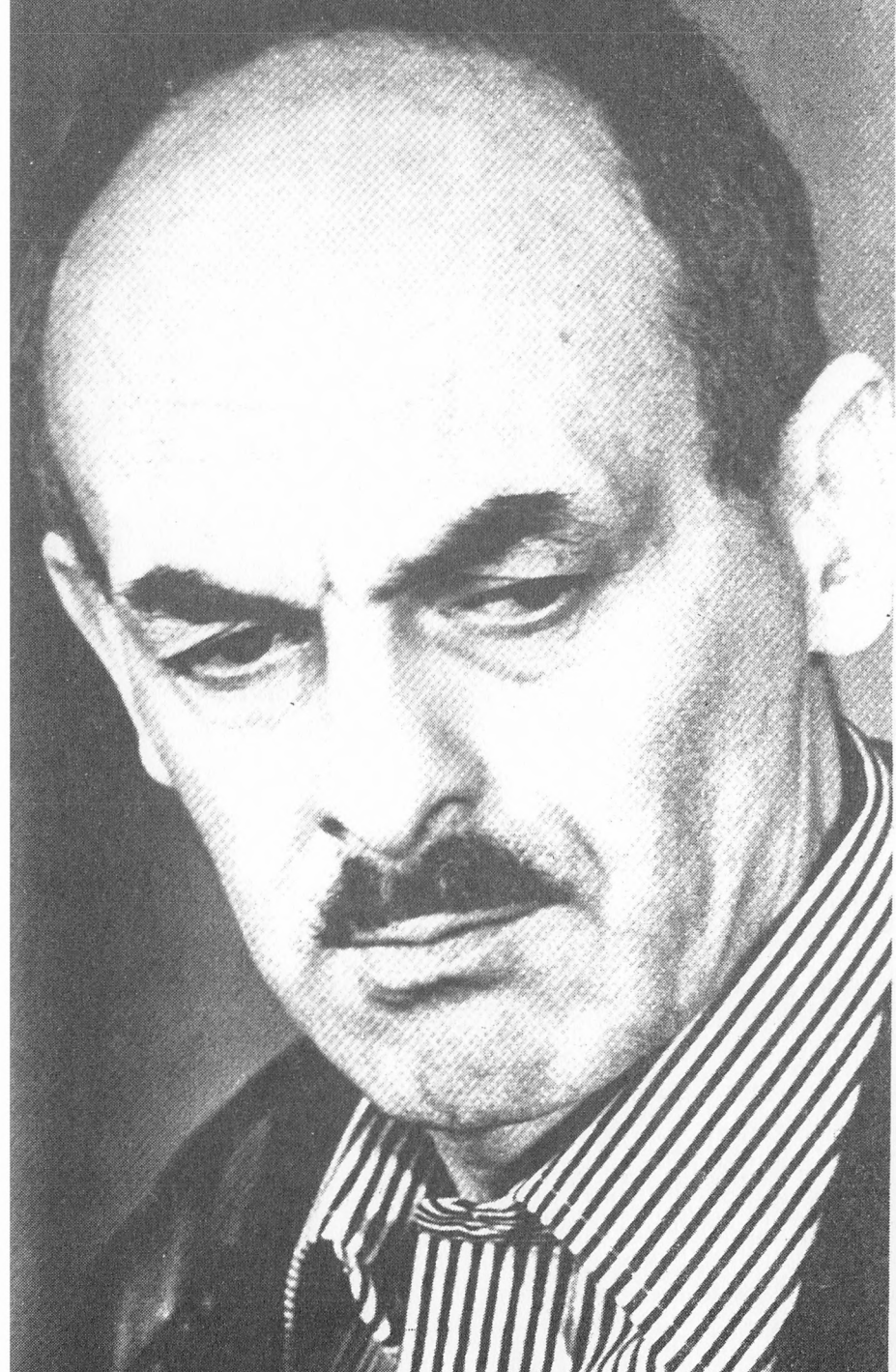
Святая наука — услышать друг друга  
сквозь ветер, на все времена...  
Две странницы вечных — любовь и разлука —  
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,  
тем слаще друзей голоса.  
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,  
глаза бы глядели в глаза.

То берег — то море, то солнце — то вьюга,  
то ангелы — то воронье...  
Две вечных дороги — любовь и разлука —  
проходят сквозь сердце мое.

1982





**Булат Окуджава  
Ольга Арцимович**

**„Мы любили  
Мельпомену ...“**



**Вариант легенды**

24 ноября в гостиной Большого Царскосельского дворца, отгороженной от посторонних высочайшим запретом, в полутемном углу разухабисто играл маленький оркестрик. Капельмейстер в гвардейском мундире, в усах и бакенбардах, пытался взлететь. Длинный стол на двадцать персон, покрытый уже помятой и нечистой скатертью, делил гостиную на две части. Ополвиненные блюда, бокалы и кубки теснились в беспорядке. Дым от трубок висел синим облаком. Двадцать гвардейцев в парадных мундирах, от сержанта до генерала, вольно, по-домашнему пировали вечерней порой. Все уже немолоды. Кое-кто, захмелев, расстегнул мундир, кое-кто и вовсе уже был без мундира, и белые сорочки голландского полотна были изрядно помяты, и брызги яств и вин покрывали их обильно.

Один из пирующих, не самый, может быть, молодой и красивый, с ямочками на щеках, был трезвее всех, и полковничий мундир держался на нем парадно и не очень поэтому натурально, и парик с буклями еще не был небрежно сбит на сторону. Он держал кубок с вином белой, пухлой, породистой рукой с отставленным мизинцем, и множество перстней и колец сверкало на пальцах.

— Пей! — кричали ему. — Чего не пьешь? Ай не хороша?!

— Ну черти, — сказал круглолицый полковник, — которую уж годовщину справляем, а я все вас напоить не могу. Сейчас велю ковш подать. Берегитесь, черти!

— Давай ковш! — радостно закричали пирующие.

Грянула музыка. Безмолвные слуги порхали вокруг. Старый генерал, задыхаясь, тянул вино из большого серебряного ковша. Вино текло по мундиру, по пальцам. Его подбадривали криками. Жареного гуся разрывали руками. Громадному осетру в отверстие пасть сунули пустую бутылку. Ковш шел по кругу. Капельмейстер, распаяясь, взмахивал руками в белых перчатках отчаянней и отчаянней, привставал на цыпочки, но улететь не мог.

— Я вам что говорю, черти! — кричал полковник радостно. — Я все помню! Кабы не вы в тот день, не сидеть нам за одним столом, черти!.. Помню!.. Виват!.. Ура!..

— Ура-а-а-а! — голосила пьяная братия.

В соседних покоях щель в разошедшей двери была столь велика, что сквозь нее можно было без напряжения наблюдать



за пирующими. Великий князь Петр беззвучно смеялся, разглядывая старых дураков, разыгрывающих ежегодный спектакль. Он был молод, худ и слéгка кривоног. Даже синий камзол с серебром, сшитый искусным мастером, не мог скрыть его телесных несовершенств. Пристрастием к вину и беспутству дышало его продолговатое нездоровое лицо. Безволие сквозило в жестах. Влажные губы выдавали сластолюбие. Однако в круглых голубых глазах светился грустный ум, придавая порокам и слабостям Петрова внука изысканность и даже благородство.

— Тетушку медом не корми, а дай ей попроказить, — сказал он с явным немецким акцентом неизвестно кому. — Старуха, а пьет из ковша... — И облизнул губы.

Круглолицый гвардейский полковник с двумя подбородками отхлебнул из серебряного ковша и передал его лакею, легким движением привычных пальцев поправил чуть сбившийся парик и ослепительно улыбнулся.

— Матушка, — сказал пьяный генерал, похлопывая его по плечу, — где же твои тансерки? Тансерочки твои где же?.. А зови-ка их скорее...

— Уймись, — сказал полковник тихо, — нынче в театр пойдем...

Генерал вздохнул:

— Опать театр... Когда ж и пошалить-то?

— Вот дурень старый, — засмеялся полковник. — До шалостей ли тебе? — И внезапно жестко и трезво:— Может, тебе маркитантку из обоза? А?..

— Нет, вы только поглядите, — сказал Петр, обращаясь неизвестно к кому, — как она им все позволяет! Как она им платит за то, что они ее на престол возвели! Вы, маленькая ханжа, тоже будете пить с гвардейцами, когда меня убьют?..

Невысокая женская фигура показалась из полумрака. На юном лице — маска отрешенности и покоя.

— Подглядывать неприлично, — сказала она с легким немецким акцентом и опустила глаза.

— Надо знать пороки своих предшественников, — суетливо засмеялся Петр. — Государыня Елизавета любит машкерады и театр, а я, видимо, из протеста, — марширующих гренадер... А вы, сударыня, что предпочитаете? Знаю, — погрозил пальцем, — я все знаю... — И раздраженно: — Вам тоже следует полюбить машкерад, всяческое лицедейство и притворство...

— Если России это будет нужно, я готова, — спокойно сказала молодая женщина, не подымая глаз.

— Уж со мной-то, со своим супругом, могли бы и не притво-

ряться!—почти закричал Петр. — Впрочем, я ведь к вам в спальню не захожу и вам не докучаю... Ведь мы с вами всего лишь друзья...— И засмеялся с горечью.

Екатерина осторожно пожала плечами.

— Любовь к театру — это блаженство, — проговорила заученно, — государыня прогневется, что вы осмелились подглядывать...

Он показал ей кукиш и прильнул к щели.

Гвардейский полковник с двумя подбородками и ямочками на щеках поднялся со стула, и тотчас все, словно и не были во хмелю, встали.

— Отцы, — сказала Елизавета Петровна, — благодарю вас. Теперь до следующей годовщины. Надеюсь, что вы все будете пребывать в добром здравии... А нынче не позабудьте — в театр. Страсть не люблю отцов родных штрафовать.

Все учтиво и благоговейно поклонились. Она ловко надела поданную ей треуголку и направилась через гостиную, невысокая, широкоплечая, прямоспинная, прямоногая, высоко несущая голову...

Петр следил, как уходила императрица. Он стоял изогнувшись, расставив кривые ноги в белых чулках. Ивана Ивановича Шувалова встретил спиной.

— Ах, — воскликнула Екатерина, — как это неприлично!

Петр резко оборотился и посмотрел на графа с усмешкой.

— Вам худо? — посочувствовал Шувалов.

— С чего взяли? — процедил Петр.

— Изогнулись, как при коликах.

— Изгибаться не в моем правиле!

Граф не придавал значения испуганной дерзости наследника. Он был молод, вальяжен и насмешлив. Его камзол был изящен и строг. На свежем пухлогубом породистом лице — удовлетворение и покой. Маленькие зоркие глаза сердили Петра.

— Ваше сиятельство, — сказал Петр небрежно, — а разве вас не приглашала пить с гвардейцев?

— Нет, — засмеялся Шувалов и поклонился Екатерине: — Сударыня, вы были обворожительны вчера на маскараде. Государыня шепнула мне об этом.

— Ах, — сказала Екатерина, — государыня слишком добра ко мне.

— Вот именно, — сказал Петр, — слишком добра к моей супруге и слишком строга со мной: я должен был сидеть за тем столом хотя бы как наследник престола.

— Ваше высочество, — сказал Шувалов с насмешливой до-

верительностью, — даже меня не пригласили... А впрочем, велика ли радость пить из ковша. Уж лучше я Сумарокова послушаю.

—Наваждение...— рассмеялся Петр. — Все кругом рехнулось: театр, переодевание...Кавалера не отличить от дамы. —И к Екатерине: — Сударыня, как вы можете отличать кавалера от дамы?..

Как случилось, что граф Шувалов привлек внимание императрицы и завладел ее сердцем, а стало быть, и мыслями, — неизвестно. Может быть, виною тому был театр. Хотя и юный Бекетов служил Мельпомене с успехом и был влюблен в Елизавету Петровну, и несколько месяцев она в нем души не чаяла и поселила его во дворце, под боком. И этот юный гений, который был так хорош на подмостках, сумел доказать, что границы его совершенств гораздо шире придворной сцены. Уж как она, пожилая одинокая дама с ямочками на щеках, любовалась им, тешилась, и не только когда он блистал в итальянской опере, но с глазу на глаз в ее труднодоступной спальне. Видимо, все же фортуна сделала свое дело, и в заочном поединке пылкий, но поверхностный юноша был повергнут, а молодой, сдержанный, утонченный, мужественный Иван Шувалов — аристократ духа, остроумец, личность — легко вытеснил его из сердца императрицы.

И вот она торопливо гримировала своего вчерашнего любимица, и он стоял перед ней в женском наряде, весь божественная грация и свежесть, и все норовил заглянуть ей в глаза, которые она упорно отводила. Два лакея и художник прислуживали ей. В глубине комнаты неподвижно и молча сидели уже наряженные загримированные исполнители. Пылало множество свечей, и из дверцы в изразцовой печи вырывалось оранжевое пламя: Елизавета любила тепло.

А он недоумевал, и страдал, и все что-то лихорадочно предпринимал, чтобы оживить ее погасший к нему интерес. Ну, спрашивал, к примеру: “Я нравлюсь вам в этом наряде? — И очаровательно улыбался, а в глазах было что-то собачье. Она кивала ему милостиво, но все было не то, не то, не прежнее... Или он говорил с придыханием: “Дозвольте ноту взять?” — “Возьми”, —разрешала она, но без энтузиазма. Он набирал воздуха в легкие, и комнату заволакивал его мягкий тенор, а она улыбалась, разглядывая не его, а грим или кисти, и на лице ее было написано: “Глупышка, сколь пылок ты в любви, сколь неугомонен в страсти, сколь искусен в риторике, столь же слеп и неопытен в житейских делах и даже не подозреваешь, как бренно все на сем свете, да и нежность тоже...”

Тут отворилась тяжелая дверь, вошел Иван Иванович Шувалов, церемонно поклонился.

— Здравствуй, здравствуй, ваше сиятельство, — пропела Елизавета, не скрывая радости. — Погляди-ка, как я нашу душечку, Бекетушку нашего нарядила!— И еще радостней улыбнулась графу.

Улыбка эта, конечно, не укрылась от несчастного артиста, ибо он давно все понимал.

—А не слишком ли щеки пунцовы? — полюбопытствовал граф. — Не слишком ли, ваше величество?

— Да где уж слишком, — вздохнул Бекетов с тайной неприязнью к сопернику, — их величеству не впервой ведь... Правда, ваше величество?

— Может, перестаралась, — безжалостно согласилась Елизавета и принялась орудовать ваткой. — Люблю, грешница, видеть на щеках здоровье.

Бекетов смотрел на императрицу глазами, полными слез, она же с радостным удивлением глядела на графа. Шувалов сосредоточенно перелистывал книгу.

— Грустно, граф, с любимцами расставаться, — сказала Елизавета без грусти, — кого же я наряжать-то буду?

— Матушка, — сказал граф, — у меня есть сюрприз. Ежели соблаговолите, я преподнесу его после спектакля.

Ни Елизавета, ни Шувалов, увлеченные друг другом, не заметили испекающего взгляда, каким наградил графа печальный юный гений. Кусок известки отвалился вдруг от потолка и шлепнулся на пол у ног государыни.

— Ах, — засмеялась она, — ничто не вечно!

— Господин Робель, ау!—позвала Екатерина. — Вы меня совсем не слышите, ау...

Великий артист вышагивал рядом, закрыв глаза. Дворцовый парк был залит дрожащим солнечным светом. За кустами Чашкин, словно мотылек, перепархивал от цветка к цветку.

— Я хочу вам сочувствовать, — продолжала молодая женщина. — При российском дворе... здесь, конечно, тьма достойных людей, и у многих хороший вкус, но... я вижу, да и вы тоже, что кое-кто все-таки... что многие не в состоянии по-настоящему оценить вас и вашу труппу...

Хитрый, многоопытный глаз господина Робеля слегка приоткрылся, незаметный лучик пошарил по лицу Екатерины, определяя, сколь истинно сказанное ею. Лукавый француз! Он увидел знакомое строгое лицо, наивные серые глаза, острый подбородок с ямочкой, по поводу которой еще многим предстояло заблуждаться.

— Великий артист, и ваша труппа фантастична, — сказала она отнюдь не льстиво, — Франция многое потеряла, отпустив

вас в Россию. — Она засмеялась. — Однако... ваше искусство здесь лишь красивая игрушка, не более... предмет для развлечения...

— Ах, — вздохнул господин Робель, — зато платят баснословно! Вы бы отказались?

Это снова вызвало ее смех. Они дошли до прудика, за которым на небольшом плацу Петр пытался выдрессировать с десятков барабанщиков. Он глянул из-под ладони на жену и артиста, помахал им рукой в громадной перчатке.

— Ваше высочество! — крикнула Екатерина. — Вот господин Робель удивляется, что вы редко бываете в театре.

— Тсс, — испугался Петр. — Если тетушка услышит, она погонит меня туда силой. Вы с ума сошли, мадам. Об этом говорят шепотом.

— Если бы мне платили так щедро, — сказал господин Робель, — я бы тоже, наверное, обучал барабанщиков.

— Каждый мой барабанщик стоит целого театра, — засмеялся Петр и помахал им рукой.

— Какие вы разные, однако, — сказал артист Екатерине, сдерживая улыбку.

— А знаете, — проговорила она задумчиво, — я не склонна мешать ему заниматься любимым делом. Вообще человека нельзя заставлять жить по чужому вкусу. Пусть он воспитывает барабанщиков, вы сгорайте на подмостках, я займусь чем-нибудь еще... Лишь бы России была от этого польза.

— Почему же государыня расстается с Бекетовым, с таким талантом?

— Ах, но не может ведь тайный советник распевать арии со сцены! Пока он учился в Шляхетном, он мог это делать, выполняя маленькие капризы императрицы. А теперь его место займут другие. Ее величество уже послала генерала Игнатьева в Ярославль — привезти новых соперников ваших. Кто-то наговорил ей, что это замечательно. Должно быть, опять Иван Иванович... или Александр Сумароков — это новый сочинитель. Кстати, он неплохой подражатель вашему великому Расину. Вообще в этой дикарской, но великой стране я совершенно искренне подозреваю много погибающих во тьме талантов, — и после недолгой паузы: — хотя я очень привержена к вашему театру и к Франции. Но... как вы сами только что сказали, иметь собственный вкус — это слишком большая роскошь в наше время. Чтобы позволить себе проявлять собственные мнения, надо иметь много денег. К сожалению, я совершенно нищая и не могу поделиться с вами ничем. Ведь все это, — она обвела рукою пространство, — не мое...

Господин Робель позволил себе мельком взглянуть на Екате-

рину. Знакомые черты, большие серые глаза, настораживающее направление мыслей.

— Воистину, — сказал он глухо, — не нужно мешать великому князю совершенствовать своих барабанщиков...

— Ах, — сказала она торопливо, — но если вы мне станете нужны, я кликну вас?

—О! — с поклоном отвечивал великий артист.

Господин Игнатъев прибыл в Ярославль вовремя.

Гость из столицы выглядел внушительно. Маленький и тщедушный, он казался гигантом в бобровой шубе, с тростью великана в цепкой ручке. Поручение Елизаветы озаряло его заурядное лицо, и ему самому иногда начинало казаться, что от него исходит сияние.

Темные, заснеженные улицы Ярославля промелькнули как сон, и вот мундир полицмейстера и его пышные бакенбарды выплыли навстречу Игнатъеву, засты свет, загромождавая прихожую.

“Какая громадина!” — подумал о полицмейстере Игнатъев с завистью, по-человечески. Это же было написано в его глазах, когда оба мужчины, и гость и хозяин, расположились в креслах гостиной, вежливо обмениваясь табаком, чихая, наслаждаясь...

Господин Игнатъев был медлителен, немногословен, улыбчив, поэтому полицмейстер держался напряженно и вопросительно: а что принесло его из столицы? А с чем пожаловал?

Господин Игнатъев прибыл в Ярославль вовремя, однако ни он сам, ни кто другой об этом не догадывались.

— Ну, что там, в Петербурге? — осторожно спросил хозяин.

— А что ему? — загадочно хохотнул Игнатъев. — Стоит.

— Машкерады, наверное, фейерверки...

— Уж как водится, — сказал Игнатъев.

— Матушка наша это любит, — вздохнул хозяин.

— Уж как не любить, — вздохнул гость.

“Не донос ли улетел в столицу?” — подумал полицмейстер, представляя, как маленький, дотошный Игнатъев будет мучить его вопросами. Впрочем, и здесь, в Ярославле, кто-нибудь мог упасть в ножки, наябедничать...

— А что, — спросил Игнатъев, — здесь-то вы как развлекаетесь? Тоже небось машкерады?

— Машкерады? — насторожился полицмейстер. — Да бог с вами... До них ли... — И подумал: “Игнатъев с добром не приедет, нет, шалишь”.

— Прослышали мы, — сказал Игнатъев с расстановкой, — что есть в Ярославле комедиантская труппа ...

— Упаси бог! — заторопился полицмейстер. — Есть кое-что,

но это так, безобразие... Я велел их гнать... разогнать... Бездельники из купцов и заводчиков, цех свой срамят, рядятся черт знает во что, балаган устроили, молодых людей сманивают, отвращают от церкви... Я велел... Поливанов! — Он захлопал в ладоши, и сильный ветер заколсбал пламя свечей.

Частный пристав Поливанов вытянулся у дверей.

— Я ли не велел гнать комедиантов этих волковских? Я ли...

— Да что это вы, батюшка, — удивился Игнатъев, — вы дослушайте меня. — И частному приставу: — Ступай, ступай...

— Пошел! — сказал полицмейстер. — Да они мне тут весь порядок разрушают... рабочих с толку сбивают!.. — И принялся утирать пот громадным красным платком. — Кстати, — продолжал шепотом, — их превосходительство господин губернатор всячески их поощряют-с...

— Да что это вы, батюшка, — повторил Игнатъев, — вы поймите, что я говорю. Я говорю вот что... Я вот что должен вам сообщить. Дело в том, что государыня наша Елизавета Петровна повелела мне...

— Да я ради государыни, — прохрипел хозяин, — в темной их сгною!..

— ...Повелела мне, черт бы вас побрал, сию труппу комедиантов доставить в Санкт-Петербург. Вот как, батюшка вы мой. За что же вы их честите? Непонятно, непонятно...

— Ваше сиятельство, — выдавил полицмейстер, сбитый с толку, — вы, ваше сиятельство, меня не так поняли... Вы говорите, мол, государыня... чтобы их доставить?. Правильно, ваше сиятельство... Чего они здесь? Может, там, в Петербурге, их к рукам и приберут... Очень рад-с...

— Экий вы, право, — засмеялся Игнатъев, — ничего и не поняли. Ну совсем ничего. — И слицемерил: — Театр нашу жизнь украшает?

— Ну... — выдавил полицмейстер, окончательно запутавшись.

— Душу облагораживает? — спросил Игнатъев.

— А как же ...

— Значит, надо их поощрять? А вы что же, голубчик вы мой?

— Недогадал, — прохрипел полицмейстер.

— Ну а как их здесь, уважают?

— Уважают, ваше сиятельство. На руках носят. Церковь, правда, недовольна, да им разве втолкуешь?.. Ваше сиятельство, неужто сама государыня?..

Игнатъев кивнул степенно:

— Вели-ка, батюшка, найти их, я сообщу им радость...

Наши герои вваливались в гостиную полицмейстера стремительно и по одному. Похоже было, что их вталкивали силой.

Полицмейстер не знал, как ему реагировать: с одной стороны, возмутители покоя, ненавистные лоботрясы, шайка, с другой же, — непонятное распоряжение, Игнатьев, императрица, ужас, Петербург, нелепость, страшный сон.

Вид призывных был странен. Оторванные рукава и полы кафтанов. Кроваподтеки, синяки, грязь... Тонкошея барышня ли, дама ли, в незнакомом, непривычном не нашем наряде, тоже изрядно помятом и рваном, худенькая, востроносенькая...

“А ведь и впрямь разбойники!” — оторопело подумал Игнатьев.

— Садитесь, господа хорошие, — глупо улыбаясь, пригласил полицмейстер.

Они молча жались друг к другу.

— Так-с, — сказал Игнатьев, ничего не понимая.

— Ну вот, — сказал полицмейстер, — чертовщина... Это вы кого или вас кто?

— Нас кто, — сказал Шумский козлетончиком и вытянул губы в подражание нечистой силе.

“Самый противный”, — подумал о нем Игнатьев.

— Кто же это вас? — спросил полицмейстер. — Заводские?

— Торговые, — ответил Федор Волков, главный разбойник. Сквозь их унылую опасную толпу пробился пристав Поливанов.

— Кто это их? — спросил полицмейстер.

— В темноте и не разберешь, ваше высокородие, — сказал Поливанов, — похоже, оглоблей их охаживали. Толпа-с...

— А ты на что?! — разозлился полицмейстер.

— А что я? — сказал Поливанов. — Я подумал, как водится...

— Так-с, — сказал Игнатьев, и все смолкло.

“Матушкин каприз, — меж тем подумал петербургский гость, — делать нечего...”

В этот момент в раскрытую дверь влетела грязная вислоухая собачонка неизвестной породы и заплясала перед Шумским позвигивая.

— Этто что?! — задохнулся полицмейстер.

— Друг сердечный, — закричал Шумский и сгреб собачонку в охапку.

Игнатьев засмеялся. Ему можно было смеяться. Матушка хотела — не он, можно и посмеяться... Полицмейстер вздохнул с облегчением. Ясности пока не было.

— Хороши, — сказал Игнатьев по-отечески и обратился к хозяину дома: — а ты говоришь, батюшка, что их на руках носить? Стало быть, уронили?..

— Виноват-с, — сказал полицмейстер, теряя сознание.

— Хороши, — сказал Игнатьев, — комедианты! — И даме: — А уж ты, матушка, как ты-то к ним попала? Почтенная вроде



бы дама. Вся в грязи... Значит, и тебя благодарная публика отволтузила?..

Полицмейстер тоненько, по-безумному захохотал. Шайка заулыбалась...

— Да это ж Дмитревский! — крикнул полицмейстер. — Мужик он!.. Актер-с!..

С ярославского почтового подворья вереница кибиток готовилась отправиться в дальний путь. Суетился гигант полицмейстер, распоряжаясь, командуя.

— Одежда, тулупы им несите! — кричал он, — не то замерзнут, черти!.. Собачку, собачку не забудьте!

Господин Игнатъев важно ступал от кибитки к кибитке: все ли хорошо? Не нужно ли чего?.. Толпились бездельники, пораженные невероятным событием.

Гриша Волков подошел к притихшему Дмитревскому и радостно зашептал:

— А кафтанчики хороши, а? Идет мне, Ванечка, скажи, а? Вроде бы и впрямь в пору! — И поворотился с форсом, с удовольствием...

Купец Крючков сказал, оглядев покрытое синяками лицо Федора:

— Гляди, Федя, как бы оно боком не вышло. Фортуна весела-весела, а после вдарит!.. Брата Гришеньку жалея, младшенький он, в голове дурь одна...

— Опомнись, Паша, — сказал Федор, — счастье-то какое! Перед государыней играть будем! Сама пожелала!.. — И брату: — Гриша, кланяйся ярославцам. Они еще за оглоблю свою в ножках валяться будут.

Григорий поклонился с дерзостью, сжатым кулаком касаясь земли...

— Так-с, — сказал Игнатъев удовлетворенно и ударил тростью в снег.

И тотчас все на мгновение застыли, кто как стоял, как на семейной картине, писанной маслом неизвестным ярославским мазилой: Шумской с облезлым другом жизни на руках, выпятивший страшную губу публике на прощанье. Щеголеватый Гриша Дмитревский в обнимку с рыдающей Настенькой, или Катенькой, или Дарьюшкой, сам с глазами, полными слез. Федор, вперивший взгляд в пространство, без шапки, с безумной улыбкой на побитом лице, будто видящий сквозь леса, сквозь версты вожденную благоухающую столицу, будто и не знавший никогда ни Ярославля, ни амбара для представлений, ни оглобель в руках своих соплеменников, ничего и никогда...

По пути заехали в монастырь, помолились. Было воскресенье. Вышли из собора. Были с ними щедры. Над монастырем гудели-разливались колокола. Пошли было размещаться по кибиткам, да остановились, увидев самих звонарей: картина открылась замечательная.

Первый звонарь, черноусый и краснощекий, вдев правую ногу в свисающую с била петлю, ухватившись обеими руками за ремень, повисал на нем, и раздавался гулкий, медовый, неторопливый, полный достоинства рокот большого колокола, словно из самых небес, и ремень устремлялся вверх, вознося прямого, тоже гордого и вдохновенного звонаря, чтобы через мгновение вернуть его на землю вместе с рокотом, полным раздумья, предостережения вселенской скорби, вечного прощания... Тут же, неподалеку от первого звонаря, — второй, совсем еще юный, огненно-рыжий, синеглазый, похожий на сказочного коня, изготавившегося к поединку, весь такой напряженный, тоже вдевший ногу в петлю, сгибал и разгибал колено, лишь одной правой рукой придерживая ремень, и колокол, уже поменьше, чем первый, звонко и счастливо восклицал что-то свое, и провозглашал что-то свое, и выкрикивал; а молодой звонарь все сгибал и разгибал колено, словно молодой сказочный конь рыл копытом мерзлую землю... И этот меньший колокол успевал воскликнуть дважды, покуда немногословный первый произносил свое единственное “А-а-а-а-а-х”. А на балкончике старый звонарь, задрал к небесам белую бороду, ухватив в руки по веревке, вызывал на откровенный разговор два небольших голосистых колокола да делал это с такой страстью и лихостью, что, казалось, колокола заливаются сами по себе, а руки вьются, возносятся, переплетаются, струятся, как падающая вода, по своей воле, а сам звонарь кричит что-то пронзительное кому-то недостижимому и тянет руки, и делает какие-то радостные знаки, понятные лишь им двоим; и можно было подумать, что уж большего азарта и большей самозабвенности и быть не может.

Однако рядом, на том же балкончике, четвертый звонарь, даже уже не звонарь, а дух святой, соединенный с четырьмя малыми колоколами четырьмя тонкими веревками (в каждой руке — по две), выделял такое, что голова кружилась от лицезрения невообразимого этого стремительного танца, или полета, или безумства, или сотворения музыки, когда не только кисти рук, а и локти, и плечи, и шея, и спина — все слилось в одном порыве, и четыре малых колокола, словно четыре пронзительных жаворонка, повисли над землей, воспевая радость жизни, праздник удач, любовь и совершенство...

Ярославцы, словно заколдованные, глядели и слушали,

непроизвольно раскачиваясь, подергиваясь, подпрыгивая в такт божественному гимну...

...Трудно сказать, на какой день, но вот перед ними в морозной дымке замаячил Санкт-Петербург. Кибитки остановились. Все вылезли размяться. Смотрели на близкую столицу. На лицах была радость. Надежда, словно живая горячая дама, стояла меж ними. Шумский подпрыгнул, словно потянул ремень большого колокола, и снова подпрыгнул, снова потянул... И Дмитревский воздел обе руки к небу и голову задрал, подражая недавнему звонарю; и Гриша Волков потянул за две веревки, поводя локтями; и Федор, не отставая от друзей, будто четыре тонких веревки очутились в его руках, задвигался, заизвивался...

В утренней тишине эти сказочные фигуры могли бы поразить кого угодно, а тут и впрямь... послышались колокола! Они звучали все громче, отчаянней, счастливей, и господин Игнатьев сдернул шапку и перекрестился.

Нынче день выдался удачный, и матушка наша государыня с ямочками на щеках шествовала, улыбаясь, среди застывших мраморных шедевров по галерее. За руку она вела наострившегося на роль Федора Волкова, ярославского красавца, впрочем, даже и не столь красивого, сколь приятного, и которого она, видимо, только что, по своему обыкновению, гримировала, одевала. Толпа придворных, подобно волне, катилась следом.

Вот она увидела у стены сжавшегося в комочек генерала Игнатьева, глянула благосклонно и усмехнулась по-хозяйски:

— Ну поглядим, что ты привез... Что-то разговоров много. К добру ли...

И тщедушный Игнатьев, стараясь умерить дрожь, старательно заулыбался, усердно кланяясь.

В зале пылали свечи, плошки. Сцену украшало оранжевое сияние. Застыли фигуры в хитонах и тогах. Звучал текст сумароковского "Хорева". Голос Волкова, срываясь от волнения, летел к потолку, и лепные амурчики с изумлением поглядывали вниз на происходящее:

Готовься к радостям, княжна, в сей день желанный,  
Уж час приблизился, тобой так часто званный.  
Уже открылся путь тебе из здешних стен,  
Ступай и покидай места сии и плен!..

У Елизаветы блеснули глаза в полумраке. На лице ее, словно у ребенка, отражались чувства, царящие на сцене. Граф

Разумовский, сидящий рядом, обстоятельно рассматривал брелок у себя на ладони, не обращая внимания на спектакль.

Не мучь меня, не мучь, не извлекай слез реки;  
Уж больше не видать тебе меня вовеки,  
Когда тебе судьба претит меня любить,  
Старайся ты меня из мыслей истребить!..

продекламировал Дмитревский, тщательно загримированный под Оснельду.

Чуть заметно улыбаясь, следил за игрой ярославцев бело-снежный Иван Шувалов. Сумароков весь издергался, переходя от разочарования к восхищению; парик у него съехал на сторону, платье было обсыпано пеплом, тонкие ноздри взволнованно вздрагивали. Где-то среди степенных буклей замерли Бекетов с товарищами. По другую руку императрицы граф Разумовский уже сладко посапывал.

Коль любишь—так скажи, исполнь мое желанье!..

Волков произнес это с подкупающей искренностью. И затем, понизив голос, почти прошептал, трагически глядя чуть ли не прямо в глаза императрице:

Пускай останется хотя б воспоминанье...

Елизавета заерзала в кресле. Вокруг смутно зашевелились почтительные букли. Дмитревский в роскошном наряде и драгоценностях императрицы, ломая руки, прожурчал девичьим сопрано:

Люблю... Доволен ли! Поди от глаз моих!  
Оставь меня в тоске, останься в мыслях сих.  
Я вздохи все свои теперь напрасно трачу.  
Мне время отъезжать. А я лишь только плачу!..

На глазах императрицы заблестели откровенные слезы. Она поднесла платочек к губам и мельком многозначительно глянула на Игнатьева. Музыка зазвучала громче. Елизавета вновь уставилась на сцену. Игнатьев последовал ее примеру, втягивая маленькую головку в тщедушные плечи. “Нравится”, — подумал он.

На сцене неотразимый Волков трагически прокричал:

Всесильны небеса, подайте помощь нам!  
Оставьте дух во мне и свет моим очам!

Граф Сиверс наклонился к государыне и что-то зашептал ей на ухо, неодобрительно покачивая головой и разводя руками. На лице его было написано откровенное изумление. Глаза у

Елизаветы расширились, губы приоткрылись огорченно. “Ах!” — воскликнула она негромко и тоже зашептала в почтительно подставленное кем-то ухо. И тут-же кто-то словно тень ринулся по проходу к сцене, взлетел... Музыка смолкла. Актеры замерли кто как был. Странная живописная картина. По напряженным лицам струился откровенный пот, перемешиваясь с белилами и румянами. Посланец императрицы подскочил к Волкову и небрежно, как манекену, исправил ему позу, сквозь полумрак взгляделся в ложу, отыскал императрицу: так ли?.. Она кивнула без энтузиазма, пухлой ручкой подала знак продолжать. И музыка грянула. Действие продолжалось. Все как было.

Любовь! Прости! Мне нет в тебе успеха.  
Возлюбленнейший мой! Не дай забыться мне.  
Безумных мыслей бред моей руке помеха,  
Надежд напрасных рой — недолгий рай во сне...—

нежный голос Дмитревского — Оснельды пронзительно зарыдал, рука, занесшая приготовленный кинжал, и вправду дрожала.

Императрица неожиданно вскрикнула и горестно покачала головой. Екатерина с пристальным вниманием смотрела на сцену, не отводя удивленных глаз от страдающего лица Волкова.

— Будь моя воля, — шепнул Петр Екатерине, — я бы этих мужиков, — указал на сцену, — сделал бы зольдатен, а все роли отдал бы бабам...

— Какую же роль вы предназначили бы мне?.. — спросила молодая женщина, не отводя взора от сцены.

Он ущипнул ее за локоть.

— Вам бы досталась главная роль самой очаровательной чертовки... — и беззвучно расхохотался.

Она произнесла невозмутимо, шепотом:

— Когда я уезжала в Россию, меня предупреждали, что здесь я буду окружена медведями. Нынче я поняла, что медведи — не самое страшное.

— Кого вы имеете в виду? — неторопливо, как опытный притворщик, полюбопытствовал он.

На сцене меж тем страсти накалялись.

Потребно множество монарху проницанья,

Коль хочет он носить венец без порицанья.

И, если хочет быть он и во славе тверд,

Быть должен праведен, и строг, и милосерд!.. —

с жаром провозгласил со сцены Кий — Гриша Волков. Шувалов с добродушной насмешкой глянул на Елизавету. Она будто почувствовала, обернулась. Минуту серьезно глядела на него, за-

тем капризно оттопырила нижнюю губку, произнесла укоризненно:

— Он совсем умер от страха, ваш Волков! Артисту нельзя быть таким нервным...

— Что-то в них есть все-таки, — успокаивающе улыбнулся Иван Иванович, — что-то есть!..

— И руки держат — не поймешь: радость у них или горе...

— Поз не знают, — вмешался Сиверс. — А искренности много.

— Да ну вас! — недовольно сказала Елизавета и неодобрительно покачала головой, взглянув на Игнатьева.

“Не нравится”, — подумал Игнатьев, холодея.

— Какая досада, — сказала Елизавета недовольным шепотом, — я так на них рассчитывала! А ты, ваше сиятельство, — обернулась к Шувалову, — совсем голову мне задурил: ярославцы, ярославцы...

— Вы, ваше величество, все-таки не можете отрицать, что в них есть что-то, — сказал Шувалов с очаровательной улыбкой, — стало быть, до столицы еще не дозрели...

— А господин Сумароков глаз от них оторвать не может... Не можешь, Александр Петрович?

— Матерьял-то хороший, — сказал Сумароков, — да мастерства не видно. Ну как я им свои трагедии доверю? При столь низком уровне образованности они ведь моего текста просто понять не смогут. Обидно, что французы и итальянцы в искусстве совершенней...

Федор Волков слышал явственный шепот из зала, видел, как наклоняются друг к другу белесые парики в ложе: какое-то непонятное, оскорбительное недоумение распространялось по залу, какие-то неясные угрозы... Становилось труднее дышать, словно опустился потолок...

— Да-да, — сказала Елизавета, — с меня хватит. Отправляйте вы их поскорее обратно! В Петербурге и без них тесно, — и засмеялась. — Особенно этого... Шумский? Да?.. Образина, прости господа, пусть пенькой торгует...

Граф Разумовский во сне утвердительно почмокал.

Федор Волков старательно, с отчаянием всматривался в лицо государыни, но видел лишь белые ускользающие пятна...

Наконец Елизавета зевнула с непосредственностью дитяти, перекрестила рот и громко позвала:

— Чашкин, где ты?

Музыка оборвалась. Артисты на сцене вновь замерли кто как был. Маленький Чашкин, правая рука, слуга надежный, тайный наперсник, вынырнул из тьмы.

— Ступай, вели все для карт приготовить. — И встала с очаровательной улыбкой.

Публика поклонилась государыне.

— Оревуар, — сказала Елизавета кокетливо и вышла. Ближайшее окружение следом. Грянула музыка, представление продолжалось.

Однако судьба оказалась милостивой к ярославцам. Утренний каприз оказался сильнее вечернего. По желанию императрицы провинциалов (тех, что попрigoжее) определили в Шляхетный корпус изучать различные науки и актерское мастерство. Попечителем, командиром, отцом и гением над нашими молодыми талантами был назначен придворный пиит и баловень судьбы Александр Петрович Сумароков.

И вот смутным зимним петербургским утром, на фоне заиндевевших полупроснувшихся домов, не смешиваясь с городским людом, длинной вереницей, торопливо, сосредоточенно двигались новые ученики Шляхетного корпуса. Вытянутые шеи, замерзшие лица, в глазах отчаянье. Мимо открывающихся лавок и магазинов и присутственных мест, мимо торговцев и дворников, под шум улицы, одетые во все новое, форменное, одинаковое, плохо пригнанное... Они почти бежали, теперь уже по набережной, окутанной паром, выбивающимся из прорубей на Неве, мимо неторопливых, заспанных кухарок, шествующих за покупками... Они напоминали лошадей, впряженных цугом в тяжелую карету. Движения их были однообразны, дорога казалась бесконечной, кучер был неумолим...

— Скоты! — кричал Александр Петрович. — Лавочки тупые! Я кровью обливаюсь, сочиняя судьбы моим героям, душу иссушаю, а вы, ленивые образины, не учите слов и все путаете! Вот уж истинная трагедия дело с вами иметь!.. Понавешали вас на мою шею!

Он был не очень велик ростом, даже, пожалуй, не выше среднего, и не широк в плечах, даже субтилен, но гнев его был столь яростен, а ярость столь искренна и горька, что, казалось, всю залу, где происходили занятия, загромождала его гигантская фигура, трубный глас и подергивающееся лицо фантастических размеров. И все будущие служители Мельпомены прикрывали глаза от ужаса перед этим разбушевавшимся гением. Гений сказал помощнику:

— А ты, Захар Андреич, в следующий раз не забудь розги приготовить, чтобы сечь этих...

Захар Андреич мрачно кивнул.

Вечером того же дня, сидя у себя дома за ужином, Александр Петрович выпил подряд две рюмки, небрежно ухватил кусок пирога, пожевал и обратился к гостю:

— Эти мои ученики, ярославцы, — чудо! Память фантастическая! Запоминают слова моих трагедий легко, как воду пьют. — Поглядел на рюмку, наполнил ее, понюхал и выпил. — Да-с, вот так-с... А вы говорите — французы... А что французы? Эти, мои, дайте срок, весь Петербург потрясут... — И снова выпил, раскраснелся: — Французы, французы...

— Да я, — покорно согласился гость, — ничего такого и не говорил...

— Да что вы мне с французами! — рассердился Сумароков. — Они ведь по-русски не говорят, а мои трагедии, сударь, на русском! Вот так-то!.. А эти, ярославцы, могут! Они волшебники.. Э-э-э? Что такое мои трагедии?.. Это российский театр! А его у нас нету...

— Да я, — повторил гость, — ничего такого и не сказал...

— Никто ничего не сказал! — заорал Сумароков. — В том-то и беда, что никто, ничего! А театра-то и нету!.. И мои трагедии представлены быть не могут!.. А публика жаждет услышать мое слово, мой урок властителям!.. Время пришло!.. Жаждет...

В танцклассе клавесин, две скрипки, флейта и лица учеников в крупном поту. Эн-де-труа...эн-де-труа... Мускулистые ярославские ноги в белых чулках... Эн-де-труа... эн-де-труа... Федор Волков старательно тянет носок. Грудь высоко вздымается. Сердце вот-вот разорвется...

В зале придворного театра царил полумрак. Лишь сцена сияла, и дымок от плошек и свечей уносился в нарисованные небеса. Грохотали литавры. Был апофеоз спектакля. На авансцене господин Робель в наряде Волхва вздымал в руке посох... За его спиной располагались живописным полукружием ряды пестрых воинов, выпевающих свой текст. За воинами проглядывалась поющая толпа вдохновенных поселян. Где-то в третьем или четвертом ряду ее, у самого задника, мелькали знакомые лица загримированных ярославцев. Они очень старались...

Высокая честь быть статистом в придворном театре! Даже если потом, за кулисами, вдруг раздастся: “А ну, хористы, рвань ярославская! Пошли прочь! Здесь господа актеры ходят!..” — все равно большое счастье!..

Елизавета наклонилась к Сумарокову и вдруг спросила:

— А что, Александр Петрович, правду ли сказывают, будто ты вчера в корпусе на занятиях гонялся с палкой за своими питомцами?..

— Было, ваше величество, было, — вздохнул Сумароков.

— А как они за палки возьмутся, — спросила Елизавета и мигнула Шувалову, — да начнут тебя самого гонять?



Граф Сиверс почтительно поклонился Шувалову:

— Какой все-таки гений этот Робель! Вот истинное наслаждение...

Сумароков. Что же, по-вашему, театр создан только для наслаждения?

Сиверс. А по-вашему — только для нравоучения?

Шувалов. Успокойтесь, господа...

Актеры кланялись высокопарно. Занавес опускался. Императрица приложила к ладони ладонь.

— Вчерась в комедии очень смешно слуга своего барина в дураках оставил, — сказала Елизавета и засмеялась.

— А кто посоветовал труппу Робеля выписать, а? — спросил Сиверс, шутливо строя ей глазки.

— Подумаешь, Мольер! — надулся Сумароков. — Господин Мольер дурные нравы обличает, а я — беззаконие богов!.. Мои трагедии ...

Все многозначительно переглянулись: Александр Петрович и вправду был смешон...

— Боги имеют обыкновение обижаться, — нарочито меланхолично заметил Шувалов. — Не дай бог!..

Случалось иногда и так, что Федю Волкова за приятный тенор, знание итальянских арий и шелковистые кудри капризная судьба отличала от других товарищей, чтобы благосклонно вознести его таланты до дворцовых вкусов. И тогда он не без блеска служил украшением интимных вечеров самой императрицы.

Вот и нынче, в камзоле и парике, в черной полумаске, благоухающий и прекрасный, непохожий на себя самого недавнего, он допевал итальянскую серенаду, а сам неотрывно глядел туда, где в кресле, в окружении ряженных, восседала Елизавета в одежде голландского шкипера, едва прикрыв глаза кружевной маской, и с улыбкой слушала ученика Шляхетного корпуса. Как он старался!..

Допев, раскланялся под шуршание аплодисментов, не отрывая взгляда от императрицы... Она аплодировала. Затем он соскользнул с возвышения и принялся пробираться сквозь пеструю, раскаленную маскарадную толпу к выходу. Голова кружилась. Приотворил дверь и вышел на уютную плющом веранду. Слабо поблескивали разноцветные китайские фонарики. Музыка доносилась едва слышно. Чьи-то неясные тени скользили мимо. Он прислонился к колонне и закрыл глаза. Кто-то коснулся его плеча, и знакомый женский голос с легким акцентом пропел рядом:

— Ау, кто вы, тенор?

Перед ним стояла нимфа в маске, за ее спиной — рыцарь в бумажных золотых доспехах.

Федор вытянулся и отрапортовал с дрожью:

— Федор Волков, ваше высочество.

— Тссс, — рыцарь приложил палец к губам, — моветон, моветон...

— Фи, — сказала Екатерина, — разве можно на маскарад открывать свое подлинное имя?

— Виноват... — растерялся Волков

Он ожидал гнева, но великая княгиня улыбнулась, у рыцаря из-под маски торчал замечательный нос Александра Петровича.

— Вы делаете успехи, — сказала Екатерина, — все есть вами восхищенный...

— Там один голландский шкипер... — сказал Волков, смелая.

— О да, — сказала Екатерина, — голландский шкипер остался довольный...

Рыцарь покачал головой с укоризной.

— Глазаст как бес, — сказал он, — все увидел!

— Зоркость — первое качество актера, — сказал Волков.

— Я, бедная маленькая нимфа, очарована вами, тенор...

— Ах, сударыня нимфа, — поклонился Федор уже без боязни, — а в наших ярославских лесах таких прелестных нимф сроду не было...

— К тому же еще и льстец, — проворчал рыцарь.

— Compliments не есть льстивость, — совсем уже вальяжно произнес Федор. — Я, например, обожаю трагедии господина Сумарокова...

Екатерина тихо засмеялась.

— Господин Сумароков — великий российский поэт, кому неизвестно?..

— Ну ладно, — сказал рыцарь, — заладил...

— Compliments, если они от чистого сердца, — признак истинной любви, — сказал Волков назидательно. И доверительно, по-деловому: — Александр Петрович... насчет нашей судьбы дальнейшей... не удалось словечка замолвить?..

— Оказывается, и гении небескорыстны, — шаловливо оборонила нимфа и удалилась с кокетливым негодованием. Рыцарь заторопился следом.

В гардеробной дворца Федор скинул с себя расшитый камзол, белые чулки, отдал служителю, накинул подержанный шляхетный кафтан, обулся в стоптанные башмаки и вышел в ночной пустынный Петербург.

В тесной передней комнатке ростовщика Симеонова множество стенных часов дружно отбивали полдень. Круглолицый,

маленький, подержанный весьма, Симеонов улыбался, клонил голову набок, прислушивался к звону. В руках он держал поддевку Федора. Она была еще не очень стара.

— Много не дам, — сказал Симеонов, когда часы отзвенели, — тебе дай много, ты, Федя, и повадишься...

— А тебе-то что, Симеонов? — рассердился Федор. — Не твоя забота!

— Ах-ах-ах... — засмеялся Симеонов. — Многие, сударь ты мой, так вот утверждали, а после гибли. Я ведь после жалеть не буду... Мне, голубь мой, жалеть нельзя — иначе прогорю... А ежели я прогорю, к кому ты пойдешь денег выпрашивать?

— Скоты! Прощелыги! — крикнул Федор голосом Сумарокова. — Лавочки тупые! Я кровью обливаюсь, душу иссушаю, образины! Скопидомы! Варвары!..

Симеонов сочувственно аплодировал.

— Не погуби, Симеонов, — простонал Федор, — не будь сквалыгой... — И внезапно скороговорочкой суетливого шепелявого старца: — Слышь-ка, Симеонов, чего скажу. Был бы день, Симеонов, а вечер будет, а ты покуда там чего, Симеонов, богобоязненно-то так, чадолюбиво так, помаленечку, полего-нечку ручку бы мне позолотил, сердце позолотил, душу, печенку, селезенку, все бы потроха... Потроха без перцу не варят, Симеонов, нельзя! Совесть не велит... А я тебе скажу, я тебе за это скажу, вот что я тебе скажу, вот как я тебе скажу, вот почему я тебе скажу... Ну чего я тебе скажу? Чего? Чего?..

— А как же ты, Федя, на мороз без одежды-то пойдешь? — серьезно и грустно спросил Симеонов.

— Скоро опять весна, варвар, — сказал Федор и протянул просяще ладонь, — зато я в немецкой лавке зеркало большое для репетиций куплю, книги куплю... Братцу Гришеньке сапоги французские, самые модные... Ну, сыпь давай...

Ах ты, господи, — удивился Симеонов, — погубит тебя театр. А Гришеньку ты — погубишь, забалуешь...

— А как же, — и Федор ослепительно улыбнулся, — один у меня братец любимый, младшенький...

Симеонов отсчитывал деньги.

— А тебя вот скаредность погубит, — сказал Федор.

— Приходи когда: поесть дам, — сказал Симеонов, не обижаясь.

Была середина весны. Еще держался кое-где снег, но больше уже было грязи, и через улицу переходить было опасно, и рослые мужики по колено в грязи переносили на закорках через улицу и барышень, и старых громоздких купчих, и изысканных кавалеров, и даже военных... А Федор Волков на потеху публике,

подобно иноходцу, “переплывал” сам. Было солнечно. Зима была позади, и от этого у всех на сердце разливалась радость. Он нес в руках большое овальное зеркало, заглядывал в него. Наконец, пересек грязь, выбрался на спасительный тротуар и поднял голову.

Замечательная картина открылась ему, чудное видение: за оконным стеклом бельэтажа, в глубоком глиняном горшке возвышался на длинном стебле красный неведомый одинокий заморский цветок, а рядом с ним, неподвижные, словно на иконе, застыли брат и сестра. Брат совсем еще маленький. Вокруг тоненькой шейки — белый кружевной воротничок. Она повыше и постарше, но совсем еще девочка. Круглолица. Аккуратный пробор на светлой головке, искусная негустая косичка свисает на грудь. Они оба одинаковыми глазами глядели на Федора, на его единоборство с грязью, и легкое подобие сочувствующей улыбки дрожало у девочки на губах.

Тут Волков изысканно, по-кавалерски поклонился. Брат и сестра не шелохнулись в ответ. “Может, нарисованные?” — подумал он и смешно замахал руками, скорчил рожу. Но они оставались неподвижны. Он уморительно соскоблил грязь с сапог, отошел в сторонку. Они с интересом скосили одинаковые глаза. Он засмеялся, кивнул им и пошел своей дорогой. Оборотился: они маячили все так же...

На террасе, обрамленной кустами роз, возвышался овальный стол со следами недавнего чаепития. Лакеи в золотых позументах осторожно ступали по полу. Застыли в беспорядке оставленные кресла, и в одиночестве у стола — две пышные фигуры: Елизавета и граф Разумовский в ленивом отдохновении. Остальные участники чаепития уже разбрелись, заговорили кто с кем. Они были здесь же, неподалеку, но уже не за столом, а на парковых аллеях, среди белых статуй...

— Ты, батюшка, не много ли хлеба с маслом за чаем умял? — спросила Елизавета по-родственному. — Вон как дышишь тяжело...

— Хлеб мягкий, рот большой: не могу остановиться, — засмеялся Разумовский и сделал вид, что не заметил ее укоризненного взгляда. — А ведь когда с турками справимся, хлеба будет еще больше, — сказал ни к селу ни к городу.

— Нет уж, батюшка ты мой, до следующей весны с турками ни-ни, передохнем... Вон Пруссия совсем от рук отбилась.

— Да что ты, матушка, — граф повысил голос, — нельзя с турков слезать. Я этого не хочу... Я хочу, чтобы...

Она посмотрела на него с удивлением, улыбнулась, но сказала жестко:

— А тебе, друг мой, пора бы уже забыть “хочу, не хочу”, пора уже отвыкать.

Металлические нотки в ее голосе вернули графа в грустную действительность, в которой фигура молодого Шувалова уже заслоняла солнце, и бывший счастливый певчий с тоской уставился на парковую аллею, по которой прогуливались Шувалов и Сумароков.

— Я люблюсь вашим лицом, когда вас посещает вдохновение, — сказал Шувалов лениво, — но когда вы в гневе...

— Гнев — это тоже вдохновение, — заявил Сумароков.

— На что же вы все гневаетесь?

— А я не гневаюсь, — сказал Александр Петрович почтительно, — я скорблю. Наше общество чистые монстры, ей-богу. У них нет потребности к просвещению. Только и славы, что дворянство... Гляньте-ка на Европу...

— Согласен с вами, — сказал Шувалов, поморщившись, — но это не дело двух дней. Вот университет открыли... Ваш гнев...

— Я скорблю, ваше сиятельство, — сказал Сумароков упрямо. — Университет, созданный, благодаря стараниям вашего сиятельства, — это, конечно, мед на сердце, но когда бы вы, ваше сиятельство, чуть-чуть теперь пособили бы и русскому театру, тогда со сцены мы смогли бы пригоршнями бросать зерна просвещения...

— Об этом у нас с государыней был разговор, — сказал Шувалов и улыбнулся: — А много ли у вас тех зерен? — И вновь серьезно: — Государыня отнеслась, кажется, милостиво, но то да се... Вы же понимаете, что граф Разумовский (*кивок в сторону*) не самый большой радетель за просвещение...

Е л и з а в е т а . О чем это Иван Иванович беседует с твоим адъютантом? Вот интересно!..

Р а з у м о в с к и й . Скучные господа. Все ту-ту, гра-та-та, тру-ля-ля... Умники. Они и чай пьют, будто язычком слизывают... Я этого не люблю. Уж если пить, так пить, а если петь, так петь (*засмеялся*), чтобы в Петербурге было слышать... — и спохватившись: — Конечно, матушка, граф тебе любезен, я ничего не говорю, он человек образованный, да вот великая княгиня Екатерина тоже книжки читает, а муж на нее все равно ножками топает...

Е л и з а в е т а . Фи, ну что болтает! Какие книжки? Какие ножки? Она умная, и полна почтения, и не лезет...

Р а з у м о в с к и й . Прости, матушка, но такие бабы тоже не по мне. Ни мяса, ни кваса... Глянь, глянь — одна тоска...

Елизавета подняла пальчик, и граф умолк.

А великая княгиня тем временем, продолжая начатый разговор, сказала графу Панину:

— Вы пишете Вольтеру, Вольтер пишет вам. Какая фантастика!

Граф Панин, посланник в Швеции, не очень приверженный к России, но отчетливо представляющий себе собственные гигантские перспективы, маячащие с самого раннего детства, с легкой тенью снисходительного превосходства на красивом, тонком, молодом лице увлекал Екатерину в глубину аллеи, подальше от овального стола.

— Вы одна из немногих великих княгинь на белом свете, благоговеющая перед именем этого француза. — И с важной многозначительностью: — Этот француз проповедует истины, которые могут здесь показаться губительными для монархии.

— О, граф, — улыбнулась Екатерина, — гуманизм, справедливость и отвращение к глупости, — разве это опасно?

— Для нас, может быть, да... для нас, ваше высочество. Вот в Швеции, например, власть как бы разделена меж просвещенными вельможами. О, если бы вы видели...

— А король? — спросила Екатерина.

— Да все вместе, — живо откликнулся Панин. — Они все единомышленники. Да королю и в голову не может прийти навязывать нации собственные капризы...

— Не говорит ли это о слабости королевской власти? — спросила Екатерина с хорошо скрытой иронией.

— Скорее — о зрелости нации, — ответил Панин наставительно.

Разумовский. Меня, матушка, вдова майора замучила челобитными.

Елизавета. О чем просит вдова майора?

Разумовский. Заступничества, матушка, заступничества. Ее имение в опеку берут.

Елизавета. За что же?

Разумовский. Всех баб своих продала, а мужиков, чтобы не буянили, — в солдаты...

Елизавета. Вот дура, кто же ей теперь прислуживать-то будет?

Александр Петрович разбушевался, сломал трость, заламывал руки, в глазах сверкали слезы.

— Мозги ваши никак не могут уразуметь, что диалог в моей трагедии — не разговор на кухне!.. Ты плакать должен! Трепетать! Холодеть! Вдохновляться! Идти на подвиг!.. Любовь растоптана!.. Жизнь висит на волоске!.. Враги подступили под са-

мые стены!.. Черт вас подери, зашьешь тут! Раззявы!.. — и замахал остатком трости. — Не могу! Захар Андреич, веди урок... — и побежал прочь, всем своим видом выражая ужас, отчаянье от бездарности подопечных... Выскочил из класса. Дверь хлопнула.

— Ну ладно, — сказал помощник, — скоты бездарные, начинайте отрывок.

Смертельного напоен яда  
В бедах молодой мой век течет.  
Рвет сердце всякий день досада  
И скорбь за скорбью в грудь влечет!  
Подвержен я несчастья власти,  
Едва креплюся, чтоб не пасть!

— Лавочки! — подражая Сумарокову, заорал Захар Андреевич, — балаганщики ярославские!.. Раззявы!..

Все молча смотрели на дверь. Там стоял Сумароков, запрокинув страдающее лицо.

— На кого орешь? — тихо спросил он. — Кого смеешь поносить, злодей?.. Я доверил тебе гениев русского театра, а ты — орать?! — И заорал сам.

— Ну-с, — сказал месье Робель, — ты хочешь сказать, что созрел для выступлений с настоящей труппой?

— А что ж? — улыбнулся Волков непринужденно. — Испытайте...

Месье Робель разглядывал Волкова не очень дружелюбно. Его маленькие умные глазки посверкивали из-под косматых полуседых бровей. У его помощника, месье Жано, лицо напоминало белую маску. Из-за громоздкого шкафа, из полумглы, выглядывало красивое женское лицо с синевою под глазами.

— Ты, — прохрипел месье Робель, — такой молоденький, розовенький, наверное, предполагаешь, что я буду поить тебя нектаром и укладывать спать на облако?..

— Отчего же? — не понял Федор.

— Что я буду сечь тебя розовыми лепестками?..

— Ваша милость, — сказал Волков с пафосом, — да вы меня можете сухарями кормить... Только дело дайте. Уже не могу: все в хоре да в хоре, все толпа да толпа.

Месье Жанно тоненько хохотнул.

— Вот у тебя какие губки обидчивые! И улыбка лживая! — вдруг закричал месье Робель и сделал движение к Федору.

— Никак нет, — сказал Волков, улыбаясь еще шире, — никак нет, господин Робель, ваша милость. — В его голосе звучали трагические интонации.

— И ты не будешь негодовать, считать меня бесчестным, обсуждать мое поведение, возмущать против меня труппу? — месть Робель перешел на злое шепот. — И ты не будешь жаловаться на меня в канцелярию императорских театров, когда я назову тебя свиной, когда я докажу всем, что ты бездарная скотина и даром жрешь мой хлеб?..

Красивая дама за шкафом приоткрыла красивый рот. Федор подумал: “Со своим уставом в чужой монастырь не ходят”, и, не спуская с месть Робеля улыбающихся, настороженных глаз, шагнул к нему вплотную.

— Господин Робель, — сказал он, — вы великий артист, да ведь и я не лыком шит, поверьте. Ну, не хотите брать меня в труппу — и господь с вами. Я ведь пришел просить не милостыню, а помощь в общем деле...

Дама за шкафом растягивала губы в улыбке. Робель рассмеялся с крайним расположением.

— Я видел вас на сцене, — сказал он, — вы мне были интересны. Вы русский черт, переполненный тайной. От вас можно ожидать всего, — и грустно вздохнул.

Дама сказала из-за шкафа монотонно:

— Помогите ему, метр. Он красив и статен.

— Я могу помочь лишь грустным назиданием, — сказал артист. — Не суетись. У вас в стране иные нравы. Оглянитесь вокруг: сколько несчастных домашних крепостных гениев сцены заперто насмерть! Вы хорошие моряки и охотники, а театр вам не нужен. Идите в гвардию, носите императрицу на руках, деритесь на дуэлях, пейте водку...

— Если бы вы намекнули императрице, что России пора иметь русский театр, это было бы полезной каплей... — сказал Федор.

— О, несомненно, Теодор! — воскликнул господин Робель. — Ей ничего не стоит повелеть, Теодор, и театр возникнет! У входа будут львы, кресла будут покрыты бархатом, капелдынерами назначат отставных красавцев из гвардии, но публика в театр не пойдет, ее придется гнать туда силой...

— Помогите ему, метр, — сказала дама, — сделайте напрасное усилие, ну что вам стоит?

Федор благодарно ей поклонился.

— Зато, — продолжала она, не меняя интонации, — когда он убедится в вашей правоте, он сойдет с ума, и я возьму его в ночные сторожа, пусть ходит с колотушкой.

— Ваше сиятельство, — сказал Сумароков Шувалову, — я в тягчайшем тупике: третий год умоляю, прошу, испракался весь... Да неужели мне это одному нужно?.. Замолвите словечко



государыне, она милостива, она сама об этом говорила, бывало... Вы ведь все можете, ваше сиятельство, Иван Иванович! В других странах, в Англии, например, — английский театр, во Франции — французский, а у нас?.. А ведь вы все можете...

Шувалов не мог удержаться от смеха, слушая откровенную лесть врага лести, глядя на его впалые щеки и в детские глаза.

— Великий человек, — сказал он с удовольствием, — провозглашающий вечные истины, каждое слово которого есть музыка, философия, чистое золото, трагедии которого высоки своим духом и пафосом, поднявший руку на самих богов, этот великий человек плачет передо мной, перед простым смертным, не одаренным никакими талантами, кроме умения быть царедворцем, что, как известно, эфемерно!..

— Вы все можете, — упрямо повторил Сумароков, — при вашем щедром сердце... — И по-деловому: — Иван Иванович, в Шляхетном корпусе расцветают гении сцены, и все в хористах торчат.

— Я говорил с государыней, — в тон собеседнику сказал Шувалов. — Она настраивается, подумывает... — И вздохнул: — Да ведь хлопот сколько!.. Турки шумят, знаете ли, и вообще... А что, гении ваши и впрямь так уж хороши? Я слушал этого... Волкова, он поет приятно, ну а вообще?

— Один из них, к примеру, так сыграл царя, что я в ножки ему пал! — крикнул Сумароков вдохновенно.

— Видимо, это был царь, сочиненный вами?

— А что ж! — сказал Сумароков с вызовом.

— И он, как водится, опять преодолел все свои страсти в угоду вашей добродетели и благоденствию своих подданных?

— А что ж... — повторил Александр Петрович не очень уверенно. — Как должен мудрый правитель, исполняя великий долг...

— А уж не намерены ли вы, Александр Петрович, таким образом усовершенствовать земную власть?

— А что ж, — повторил Александр Петрович, сникая. — Я только прославляю мудрость... благородство... во имя блага... Лучшие качества... Мое восхищение и преданность всем известны.

— А если владыки не захотят иметь вас... ну ... в учителях? — спросил Шувалов тихо.

— Мои трагедии гибнут без театра, — пробубнил Сумароков. — Представьте себе: у Шекспира был театр, у Расина...

— А ежели все-таки цари не захотят? — переспросил Шувалов еще тише.

Купец Крючков, тот самый, ярославский, заглянул в открытое окно. Волков сидел перед зеркалом и строил похабные рожи.

— Здравствуй, Федя, — сказал Крючков.

— Здравствуй, Федя, — передразнил Волков с той же интонацией.

— Я тебе поклонь из Ярославля привез, — сказал Крючков.

— Ты бы мне калачей привез, — сказал Федор.

— Я теперь в Петербурге торговать стал, — сказал Крючков, — торговлишка хорошо идет, — и похлопал себя по карману. — Вот бы ты Федя, помог мне... Ты же еще в купцах числишься. У тебя ж кровь-то купеческая...

— Да я не смогу, Паша, — грустно сказал Волков. — Какая там купеческая... Тронутый я ...

— Да брось ты притворяться! — рассердился Крючков. — Встанешь, значит, за прилавок, я тебе скажу: “А ну, Федя, подай госпоже ситчику”. Ты — р-р-р-аз — и развернешь перед нею... — “А ну, Федя, фунт табачку!..” Тут ты деревянным ковшичком золотой табачок, упаси бог руками: “Извольте...”

Постепенно улыбка сошла с лица Федора, он задвигался, зажестичулировал... Фантазии Крюčkова звучали как музыка. Федор раскидывал товар, улыбался дамам, вертелся перед зеркалом...

— “А ну, Федя, рейнвейнского!..” Ты идешь, бутылки позванивают, господа глядят: что это за красавец такой?.. “А ну, Федя, покажи-ка барышне гребешок костяной, а ну имбирь турецкий, шаль вон ту с кистями!.. Да не ту, Федя, э-э-э-звон какую...”

— А как я в ситец завернусь, и он по мне потечет, — сказал Федор, загораясь, — барышня твоя, небось, закачается, а?

— Закачается! — обрадовался Крючков.

Федор остановился, спросил серьезно:

— Кормить будешь?

...Они шли по улицам, размахивая руками, говорили, перебывая друг друга.

— А есть ли у тебя, Паша, голубой бархат?

— Есть, есть, Федя, — радостно сказал Крючков, — а как же! И у тебя будет!..

— Это замечательно, — сказал Федор, — дама блонд в нем неотразима. А еще лучше атлас... А если я буду еще по-французски петь, они вообще с ума сойдут...

— В нашем деле лучше прибаутки, Федя. Они это любят...

...И вот уже в лавке Крючков выкрикнул с торжеством:

— А ну-ка, Федя, раскинь перед госпожой красный поплинчик, потешь душу! — и глазами указал Федору на товар.

Волков выхватил с полки штуку материи и пустил ее кувираться перед удивленной дамой.

— Ах ты господи, — шепнул Крючков незаметно, — да это

ж бархат! Сматывай, Федя... Пардон, мадам... А день нынче какой! Небесная лазурь как раз к вашему лицу-с... Один момент. Во-о-н поплинчик, Федя...

Федор полез за товаром, не удержал штуки, она упала и потекла под ногами...

— А, черт! — сказал Волков, — скользит, каналья... — принялся ползать по полу. Встал, дамы не было. Крючков глядел озабоченно.

— Ты, Федя, вот что, — сказал он мягко, — ты не суетись, делай быстро, но с гордостью, будто тебя нарисовали. — И показал: — Ручку так, ножку эвон как и плечиком вот так...

Волков загорелся на мгновение:

— А может, так? — и принялся показывать.

Крючков ахнул:

— Господь милостивый, именно, именно! А ну давай, давай!

Вошла барыня в сопровождении казачка. Казачок грустно прикорнул у двери.

— Чего изволите-с? — просиял Крючков, подмигивая Федору.

Барыня, не замечая его, хмуро глядела на Волкова, он — на нее. У нее в глазах горело подозрение, у него — тоска.

Сам себя я ненавижу,  
Отлучившись от всего;  
Окончания не вижу  
я страданья моего!.. —

он продекламировал и рассмеялся невесело. Она тоже, но с опаской.

— Чего изволите-с? — спросил напряженно Крючков.

— Нет ли у тебя, купец, тарусских кружев на рукава? — спросила она у Волкова.

— А как же, — прохрипел он, корча идиотскую рожу, — эвон тебе, матушка ты наша, кружавчики, — и сунул ей под нос первую попавшуюся под руку тряпку. — А вот тебе, кормилица, рукава. — И швырнул на прилавок орехи из лукошка... Затем вынул из-за прилавка и прочитал возвышенно:

Меня ты долго ль будешь мучать, грудь терзая?  
Ударь же, сердце жаркое пронзая!..

Затем запел по-французски.

Барыня глядела с ужасом. Крючков встал меж ними.

— Сударыня, — крикнул он с отчаянием, — да вы не пугайтесь! Это он из комедии поет, по-французски... Купец-то ведь злот-я, сударыня!

Барыня ринулась прочь из лавки.

— Он тронутый у нас... — И заорал на Федора: — Молчать!..

Федор низко поклонился.

— Ну вот, Паша, вот и наторговали. Пойду-ка я.

— Федя, — сказал Крючков, — я не серчаю, я ведь от чистого сердца.

— А что, Паша, может, пойдем со мной? Возьмем атласу твоего, бархату, ситцу, нашьем костюмов для спектаклей! А?

— Нет, Федя, — сказал Крючков серьезно и твердо, — не быть сему. Бог не даст.

— Ну ладно, — вздохнул Федор, — я ведь от чистого сердца.

— Федя, — сказал Крючков, — ты когда-чего заходи, покормлю.

— А товарищей моих покормишь? — спросил Федор.

— Нет, Федя, — сказал Крючков, — тебя одного покормлю, приходи...

...И все-таки на другой же день в большой комнате за длинным деревянным столом они сидели все, словно на тайной вечере: Волков, Шумский, Дмитриевский и Гриша. В стороне, в кресле — молчаливый, насупившийся Крючков. Баба тянула из печи горшок со щами. Никто на нее не смотрел...

Стояла тягостная тишина.

Поздняя весна или начало лета пылали в Петербурге, а ученикам Шляхетного корпуса послабления не предвиделось. Все той же неистовой вереницей, словно лошади, запряженные пугом, вздымая пыль, толкая прохожих, сгибаясь под тяжестью несущихся вслед проклятий, бежали они по улицам, по набережной, пропыленные, пропотевшие, сошедшие с ума...

Лишь избранные счастливыцы удостоились чести проводить Елизавету в сей поздний час до покоев. Церемония прощания была коротка, обыкновенна и сердечна. Пожелания спокойной ночи, и учтивые европейские поклоны, и изысканные книксены — хорошо заученный медленный танец под музыку полночного дождя...

Едва за императрицей захлопнулась дверь, как улыбчивые камерфрау — цветущие молодые дворянские девицы — окружили ее, устав от долгого ожидания.

Прислуживать этой немолодой веселой женщине с ямочками на щеках было приятно. Ее капризы не оскорбляли, ее сетования на недуги были ироничны, она могла завернуть крепкое словцо и посмеиваться, видя, как пунцовеют светлые девицы. Бремя государственной власти разделяли с ней мужчины, сердечных тайн — фрейлины, но бремя ее обширного гардероба и много-

численных секретов дамского туалета лежало на плечах этих молодых нарумяненных дворцовых пастушек.

— Где Чашкин?—спросила Елизавета.

И тотчас приотворилась дверь, и маленький Чашкин скользнул в покои и виновато заморгал глазками.

— Что скажешь, Чашкин?— нехотя полюбопытствовала она.

— Матушка, — сказал этот человек, — их высочество, племянник ваш, в галерее опять над вами насмешки строил... при супруге-с.

— Чем же я ему не угодила?

— У меня, говорит, один барабанщик полезней, чем все тетушкины театры...

— Дурак неблагодарный, — поморщилась Елизавета. — А Катерина что?

— Их срамили-с. Мол, государыне лучше знать...

— Я к нему со всей любовью, — пожаловалась Елизавета, — а он ко мне видишь как?..

Чашкин вздохнул. Она взмахнула рукой, и он исчез, будто и не был.

Наступила пора метаморфоз. Девушки с наслаждением окружили Елизавету Петровну.

...И вновь они бежали по Петербургу. Дождь хлестал. Одежда вымокла. Тоска носилась в сыром воздухе, мрак безысходный намечался впереди... Грохот их сапог наполнял улицы, терялся во дворах. Летели брызги...

Внезапно издали Федор увидел знакомый дом, окно в бельэтаже, и он дернул Дмитревского за рукав, кивая на то самое окно. Они замедлили свой бег, пошли шагом, остановились...

Из голубого горшка стремительно тянулся упругий стебель, увенчанный красным заморским, неизвестным, одиноким цветком. А рядом, как на иконе, застыли брат с сестрой. Он успел стать чуть повыше, понескладней. Она же из девочки превратилась в барышню. Коса стала толще... Одинаковыми глазами глядели они на наших героев: то ли что-то вспоминали, то ли все позабыли.

— О! — сказал Дмитревский. — О...

— Ну? — сказал Федор. — А?..

И побежали...

В покоях императрицы подходила к концу партия в “фаранон”. Елизавета была в выигрыше, с круглого лица ее не сходила улыбка, жесты были широкие, щедрые. Свечи пылали ярко. В углу тихо возились шуты и шутихи, позвякивая бубенцами... Было не до них.

Когда у матушки хорошее настроение — и детям прекрасно: нет-нет, да и на их долю перепадет от ее душевного сияния. Старайтесь, дети, старайтесь, чтобы она, подобно солнцу, грела мир, чтобы туманы и тучи не заслоняли ее от вас... Старайтесь, дети!..

Во времена Анны Иоановны света было мало. Сейчас же — в избытке.

— Нынче вы, государыня, всех на сто очков обошли, — сказал Разумовский.

По вишневой суконной скатерти стекались золотые. Ленивая пухлая рука собирала их в одно стадо.

— Вам следовало не жалеть черную даму, — подсказал кто-то, — победа ваша была бы куда грандиозней...

— Ах, ах, — благодушно капризничала Елизавета, — все учат, все умники, все все знают. — И подмигнула Шувалову. — Куда ни повернись — везде учителя, один другого лучше. Князь учит, как в “фараона” играть, канцлер — как с государством управляться, господин Сумароков тоже вот все от соблазнов власти предостерегает... Все учат, одна я дура...

— Да кто ж осмелится? — притворно возмутился Шувалов.

— Отчего же, — засмеялась Елизавета, — разве я запрещаю? Я всех слушаю и учусь, как батюшка покойный мне велел... Я только скуки не люблю...

— Господин Сумароков фанатик, — сказал граф Панин и глянул на Елизавету.

Она рассмеялась и подала знак Шувалову. Фаворит качнул рукой, и тотчас же царчовый лакей распахнул двери. Вошли Сумароков и Федор Волков. Гости ахнули.

— Чудо! — сказал Панин.

— Сюрприз, — сказала Елизавета и поднялась. Все поднялись следом. — Господа, вот вы меня учите, какой мне следует быть, и я ваши уроки запоминаю, даже когда Александр Петрович нотации мне читает и поучения в трагедиях делает. — Голос ее стал чуть жестче, улыбка исчезла. — Я зла не держу... стараюсь ему угодить, — усмехнулась, — а то он меня на весь белый свет ославит в своих трагедиях... Стараюсь я тебе угодить, батюшка?..

— Господь с вами, ваше величество, — пробубнил Сумароков, теряясь.

— Господа, — продолжала Елизавета, — вот два ужасных человека. Они меня замучили, застыдили. Этому (*ткнула в кружевную воротник Шувалова*) подавай дворец для российского театра! Шувалов поклонился. — Этому (*кивнула в сторону Сумарокова*) подавай хоть какой-нибудь сарайчик, чтобы было ему где своими поучениями размахивать... Я, дура несчастная,

решила одним махом с ними обоими разделаться, чтобы не слышать отныне их нытья... Гляньте-ка туда, свет мой Иван Иванович, что там? — указала в окно.

— Бывший головкинский дворец, ваше величество, — сказал Шувалов.

— Вот и берите его с богом под храм российской Мельпомены. Подойдет? — она любовалась собой. — Теперь вы, поэт божественный, гляньте-ка что это там?

— Не видать, — сказал Сумароков испуганно.

— Да вон же, вон! — воскликнула Елизавета.

— Головкинский дворец... ваше...

— А вы его берите себе под сарайчик! — И она расхохоталась, а потом оборотилась к Волкову, заметила волнение на его лице и, продолжая продуманный праздник, заявила: — Один добрый человек нашелся, подсказал, как мне поступить. — Все поворотились к Федору. — Не ныл, не кричал, не осуждал, а ласково, по-дружески шепнул, — она помолчала, — и я поняла... — И царственно: — Довольны ли?

Федор не мог сдержать радостной улыбки. Александр Петрович был бледен, капли пота проступили на лбу. Вымученная улыбка тронула сухие губы...

Какое-то тонкое назойливое подобие крика отдаленно возникло в воздухе...

Этот назойливый крик усилился, стал истошным. Скорбный и страшный, он снова через столько лет звучал в голове остолбеневшего от воспоминаний Александра Петровича. Да разве можно было его забыть?!

И Сумарокову виделось в тусклом сиянии редких свечей, как по этой же самой широкой, затейливо изукрашенной лестнице, ведущей с богатых антресолей в роскошную залу, рослые и хмельные лейб-компанцы стаскивали хрипящего мужчину, кружевного, атласного, бархатного, беспомощного... Кричала невидимая женщина, а Александр Петрович, еще такой молодой, как эти счастливые нынешние его ученики, прижался к стене...

— О господи, — сказал Сумароков, закрыв глаза, — бедный Головкин! И все... В один миг...

Уже не было улыбок на лицах учеников. Они стояли тесной толпой все в том же зале, но уже умершем, холодном, запорошенном пылью, заросшем паутиной, пугающем выщербленными потолками и стенами. Голодные крысы, не стесняясь, прогуливались на виду.

— За что же его так? — шепотом спросил кто-то.

— За что, за что, — рассердился поэт, — за то и за это, как водится. Время пришло, любовь прошла, новые времена... Для прежних любимцев это штука страшная... Рабы моих врагов — враги моих рабов!.. Я лоб расшибу, против беззакония воюя! За что... за что... Жизнь не стоит полущки, когда богам угодно... А законов-то нет! Я их учу, чтобы опаматовались! Есть высший суд, черт его подери!..

И вновь раздался истошный женский крик. Долгое нелепое тело всемогущего канцлера по богатой ковровой лестнице волочили вниз, и хрип и стоны наполняли залу. Рослые молчаливые лейб-компанцы, словно сухое бревно, тащили графа... Федор вгляделся в его лицо и вдруг увидел, что это он сам, Федор Волков, безуспешно пытается вырваться, ухватиться тонкими, беспомощными руками за скользкие перила, это его искаженное ужасом лицо мелькает меж ботфортами хмельных лейб-компанцев... И истошный женский крик раскалывает голову...

— Вот как бывает, — сказал Шумский шепотом, — был и нету...

— Мольер великий человек, — сказал Сумароков, — да он обличает слабости людишек, а я — пороки и беззаконие богов! — И грустно: — Да никто слушать не хочет! Отмахиваются как от мухи...

— Неужели это наш театр?! — сказал Волков как во сне.

Воистину, радость нынешняя сильнее горьких воспоминаний.

— Мы все должны им высказать, чтобы они не думали... — сказал Сумароков.

— Ура, — сказал Дмитревский тихо. — Вот уж сыграем, так сыграем! Расина бы... Мольера... Вас, Александр Петрович!..

— Даже богам нельзя спускать! — упрямо повторил Сумароков.

— Такому театру, — сказал Волков, словно отмахиваясь от Александра Петровича, — парчовый занавес впору.

Дмитревский воздел руки и потянул воображаемый ремень большого монастырского колокола, и тотчас раздалось тяжелое медовое гудение. Гриша Волков ухватился за две веревки, и откликнулись средние колокола. Федор заработал сразу четыре-мя, и, ликуя, зазвенели малые. Праздничный перезвон наполнил пустынные своды головкинских хором, и Александр Петрович задергал плечами, и все задвигались, пританцовывая, словно обезумели...

Купец Крючков вошел во двор и глянул на волковское окно. Различил белое неясное пятно. Оно то исчезало, то возникало вновь.



— Федор! — крикнул Крючков и замахал руками.

Пятно приблизилось. Волков в белой сорочке растворил окно, радостно осклабился:

— Давай, давай, Паша, заходи! — И побежал встречать гостя.

Покуда Крючков степенно пересекал двор, произошло непредвиденное: входная дверь распахнулась, и на пороге возникла старуха — то ли кухарка, то ли сводня. Она куталась в серый платок и не очень дружелюбно оглядывала ярославца:

— Тебе чего, сударь?

— Как чего? — засмеялся Крючков. — Самого Федора Григорьича.

— И где же они? — спросила старуха.

— Как где? — не понял Крючков. — Вокне был, а сейчас сюда выйдет.

— Выйдет? Ладно, — сказала старуха, — погодим.

— А чего годить? — удивился Крючков. — Земляк я, из Ярославля, дружок ихний.

— Чего-о-о-о? — Смех ее был удручающ. — Дружок?.. А может, ты разбойник...

— Федя! — крикнул гость, теряя терпение.

— Федя, Федя, — передразнила старуха, — и кричать нечего, их дома нетути. — И она захлопнула дверь перед его носом.

— Федя! — крикнул купец.

Из окна высунулся Федор.

— Где же ты пропал, Паша? Я жду тебя, заходи!

— Да тут кухарка, дура старая, — сказал Крючков, — на-смешки строит. Иду, иду. — И заторопился.

Но не успел ухватиться за ручку двери, как она широко распахнулась и перед Крючковым возник странный господин в камзоле, в большом парадном парике, в усах и бородке на немецкий манер.

— О! — воскликнул он басом, — русише мужичок! Гутен таг.

— Федора Григорьевича мне, — мрачно сказал Крючков и попытался проскользнуть в дверь.

Господин чему-то страшно обрадовался, ухватил Крючкова под руку, повел по двору, трубя в самое ухо:

— Всегда мечташь увидеть русише мужичок!.. Будем гуляйт унд шпрехен, шпрехен унд шпацирен... Как ви поживайт?

— Да я ничего, — жалобно простонал Крючков и с надеждой глянул на окно: до него было далековато, чтобы кричать. — Вот дружка приехал навестить...

— О! — обрадовался немец, — дружок, дружок, приходи в майне лесок!

Крючков изловчился, высвободил руку и крикнул в окно с отчаяньем.

— Федя! Да Федор же!..

— Чего тебе? — спросил немец у него за спиной голосом Волкова.

Крючков оборотился, взгляделся в немца и плюнул под ноги.

...Спустя пять минут, уже в комнате Федора, Крючков сказал, вздыхая:

— Завод твой ярославский совсем в упадке, людишки разбегаются. Меня купцы прислали: иди, говорят, поклонись, позови черта, голодранца непутевого.

Волков, опять в своей затрапезной рубаше, вышагивал из угла в угол.

— Возврата нет, Паша, я болен, — сказал он, — так и помру.

— Вон книг у тебя сколько, — сказал Крючков, — зеркало какое рожу корчить, тьфу... а здоровья нету.

— Здоровья нету, зато теперь театр свой!

— А тебя ярославцы стоворились из заводчиков исключать... По миру пойдешь, Федя.

— Тяжелая болезнь, — сказал Волков, — люблю Мельпомену. Лечить нельзя.

— Будто в Ярославле хороших баб нету, — рассердился Крючков.

В Петербурге лил дождь. Темные громады отсыревших домов высились подобно курганам. В тишине вспыхивала дробь подков, грохот колес. Из экипажа стремительная тень кидалась к тяжелым дверям притаившихся зданий. Стук, скрип, лязг железа...

— Курьер ее императорского величества!..

Желтые огоньки свечей... Затем раздавались горестные крики, как на пожаре, и в окнах второго этажа уже пылало, и безумные тени металась по дому, по другому, по третьему... Вспыхивали окна одно за другим...

— Курьер ее императорского величества!..

А в это же самое время в доме генерала Лопатина слуги ходили на цыпочках, ибо сам был не в расположении, вынужденный вести недостойный разговор с дальним родственником, оборванцем Шумским, болтавшим всякий вздор.

— Что же ты, родственничек, драный такой да тощий? — грозно спросил генерал. — Больше года уже в своем театре представляете, а что-то не больно сыты!.. Видать, не делом занимаешься!

— Мое дело вас потешать, — сказал Шумский, поеживаясь.

— Срам... Или ты французик какой? — крикнул генерал, багровея. — Сдались мне твои потехи! Я делом занят!.. Мне вот,

к примеру, надобно пятьсот возов пеньки в Голландию отправить, понял? А у меня пока что тридцать два едва наберется, эвон. — И кивнул на окна. — А матушка государыня добра, смешлива, а как за холку ухватит, как спросит — прощай карьер!.. А ты, дурак, трагедии, комедии... Да вы там все — бездельники, шайка нищая, голодная... Тебе, к примеру, жалованья сколько платят? — Шумский молча опустил глаза. — Вот так-то... Аграфена, накорми его, дурака, кашей!.. Прохиндеи балаганные! Намордники наденут и ну кривляться по-немецки...

— По-русски, — сказал Шумский мрачно, оглядывая молчаливую, недружелюбную генеральскую семью, замершую как перед началом казни... И красавица Машенька среди них...

— А мы, — сказал генерал, — лучше в церковь пойдем, а к вам в театр, эвот. — И показал большой кукиш. — До сих пор господь миловал, ноги нашей там не бывало, даст бог и не будет!

В это время вошел слуга, шепнул генералу нечто, и генерал, напрягшись, вдруг легко выпорхнул из зала. Все, кроме Машеньки, с осуждением глядели на бедного родственника. Генерал воротился и уже из сеней, вытаращив безумные глаза:

— Живо, наряжаться! В театр ехать!.. — И взмахнул перед обомлевшей аудиторией белым листком.

Послышались причитания, вскрипы. Шумский крутил головой, пытаясь очнуться.

— Читай, ворона! — приказал генерал, задыхаясь, и швырнул Шумскому белый страшный листок.

— “Всем надлежит быть на театре с чадами и домочадцами... Ослушавшимся — мой гнев... Штраф пятьдесят рублей серебром... Елисавет”...

Дальнейшее протекало как во сне, понять ничего было невозможно, подобно призракам, метались по дому люди, сталкиваясь и повизгивая от страха...

Машенька, подмигнув Шумскому, на ходу шепнула:

— Неужто вы сами, братец, представлять будете?

— Буду, буду, — захлебнулся, — я для вас буду!

В зале бывшего Головкинского дома потрескивали кресла под тучными телами. Жар был несносный от множества плошек и сальных свечей. За суконным занавесом погромыхивали торопливые мотыльки. Пухлощекий юный барин из первого ряда неотрывно глядел на занавес. В дверях старая барыня бранилась с капельдинером.

— Да как это ты моего Порфишку-то не вступишь! Очумел?..

— В ливрее не велено-с в залу впускать, — разъяснил капельдинер.

— Вот так раз! А ежели у меня спина чесаться начнет? Стало

быть, я сама себе чеши?.. — прошипела барыня. — А что ж осиповские-то слуги по залу ходят?..

— Выведем-с, никого не велено.

— Вот мученье-то на нашу голову!

Бледный Дмитревский в платье Оснельды, замерев в классической позе отчаяния, выкрикнул со сцены фальцетом:

С тобой, с тобой, кого я так люблю...

Последнюю надежду погублю!..

Пухлощекий мальчик неотрывно глядел на сцену.

Купчиха во втором ряду плюнула и сказала громко:

— Срамотища!

Благообразный купец в середине зала тянул за чуб молодого человека, пригибал к полу, гневно кричал:

— Отвечай, отвез аль нет? Душу выну, убью!

Федор провозгласил со сцены:

Ведь власть тебе не для того дается в руки,

Чтоб смертным приносить лишь горести и муки...

Г е н е р а л . Это что такое? Как эти молокососы могут о власти рассуждать? Это что же такое делается?

Волков продолжал:

Не только для себя имеешь царский сан,

Для пользы общей он тебе богами дан!..

Г е н е р а л . Нда-а-а...

Пожилой чиновник спал на плече у супруги. В проходе меж креслами молодой барин, явный петиметр, встав во весь рост, крикнул в ложу:

— Завтра Лосев приезжает, слышали?

Большая старая крыса медленно вразвалочку, двигалась по проходу.

Дама вскочила на кресло с ногами, оглушительно визжа.

Соседи выскакивали из рядов: “Крысы! Крысы!..”

На авансцену вышел Сумароков, с трудом сделал вежливое лицо, сказал, обращаясь к зрителям:

— Покорнейше прошу зрителей орехов не грызть и не переговариваться. Я ведь, господа, драмы пишу для вас, для вашего удовольствия... Ежели бы я знал, что это вам не нужно, я бы и за перо братья не стал...

— Не берись! — засмеялся кто-то.

Толстая крыса пыталась взобраться по занавесу.

— Я полагаю, — продолжал Сумароков, — что просьба моя

справедлива, да и господа актеры об том же просят... — Он сделал знак продолжения спектакля и, уходя, пнул крысу...

За кулисами сказал с отвращением Грише Волкову:

— Скоты! Второй год в театр ходят, а все как в трактире!..

— Прошлый год похуже было, — сказал Гриша.

На сцене грозный Кий, указывая перстом на Оснельду, воскликнул:

Умри, обманщица!

Эй, стража, взять ее!

Тут с кресла вскочила генеральская дочь Машенька и крикнула с отчаяньем:

— Не надо! Не надо!..

В дворцовом театре, в благоухающем полумраке белели паприки, посверкивали бриллианты. На роскошной сцене итальянец в розовом камзоле, приняв вдохновенную позу, запрокинув голову, допевал арию, и юная арфистка едва касалась струн, и две очаровательные пастушки застыли, благоговейно внимая соловью...

Лицо Елизаветы Петровны выражало праздник.

— А как в Головкинском доме? — спросила она у Шувалова. — Публика-то ходит?

— После вашего указа, матушка, все замечательно. Только вот гений наш доморощенный опять недоволен.

Елизавета подняла бровь.

— На отсутствие денег жалуется, — прошептал Шувалов, — и публика ему не та... Да к тому же... — Остальное расслышать было невозможно.

— Что это вы мне такое наговариваете? — удивилась она. — Разве бывает так много крыс?

— Бывает, матушка, — сказал Иван Иванович с улыбкой и развел руками.

— Что же, на них и управы нет.

— Травили. Говорят, не помогает...

— Напугать надо, — сказала она и расхохоталась.

Канцелярия сработала. Небывалый указ за монаршей подписью взволновал империю: "Отпустить на нужды первого русского театра, что в Головкинском доме, триста котов и кошек, искусных в ловле крыс..."

Прошло несколько месяцев. Однажды за кулисами мокрый от пота Федор сказал Сумарокову по-деловому:

— Надо было людей нанять по целковому, чтобы кричали браво-брависсимо!

— Погоди, — скривился Сумароков, — еще бить начнут...

Брависсимо ему... Перед скотами играем! Ничего понимать не хотят, скоты! Запьешь тут!..

— Зато театр... свой, наш! — крикнул Федор. — Играем!..

— Привыкнут, — сказал Дмитревский, тяжело дыша, — сами ходить начнут, к аплодисменту привыкнут тоже.

— Привыкнут, как же, — чуть не плача сказал Сумароков, — подъячие!.. Кровью пишу, мучаюсь, а для кого?!.. Для этих вон?.. Были бы мы придворными актерами, там ни одно слово из моих трагедий не пропало бы!.. И королевскую мантию (*дернул Федора за рукав*) не из крашеного бы мешка шили, а из бархата!..

— Господь с вами, Александр Петрович, — сказал Федор, — мы ж стараемся!.. Зато театр свой!..

— А этим бы, — продолжал Сумароков, кивая на зал, — только актеров унижать! Орехов им захотелось пощелкать!..

— Господь с вами, Александр Петрович, — сказал Федор с заметным раздражением — не бьют, и ладно. Нас вон в Ярославле как дубасили оглоблей, а эти ничего!— И рассмеялся, и побежал на сцену, и было видно, как, легко приняв позу, произнес, перекрывая шум в зале:

Да разве ради вас я смерти убоюсь?..

И с жизнью я счастливым расстаюсь!..

И все тот же неизменный пухлощекий мальчик в первом ряду восторженно захопал. Волков не удержался, низко ему поклонился.

После спектакля за кулисами беседа продолжалась.

— А все-таки публика начинает привыкать к нам, — сказал Федор, разгримировываясь. — Я одного юношу, например, уже десятый раз здесь вижу.

— А я, например, — сказал Гриша, смеясь, — одну блондинку вижу в двенадцатый раз!

— Тихо-тихо, а существуем, — сказал Дмитревский.

— Конечно, — сказал Шумский, — да не может быть, чтобы такой гений, как Шекспир, сердца не тронул!..

— Шекспир писатель непросвещенный, — раздраженно заметил Сумароков, — и пишет он, как пьяный дикарь... Кстати, это не мое мнение, а Вольтера... А вы что, с господином Вольтером не согласны?

Волков потупился.

— Вольтер великий ум, — сказал он, — но вы же сами всегда утверждаете, что боги могут ошибаться!..

— Шекспир, Шекспир... — сказал Сумароков, не слушая. — Да, сердца он трогает, не спорю, но зато вкус оскорбляет. У него плохое и хорошее — все намешано, сплошной хаос. Все его

пьесы надо бы переписать. Вот я Гамлета переписал, и к чести своей, без ложной скромности скажу: лучше стало. Ведь я что старался: все плохое исправить, а хорошее умножить...

— Да Гамлет же сильнее как фигура трагическая, чем благополучная, — робко, но твердо сказал Федор.

— Александр Петрович, — вмешался Шумский, — послушайте меня. Вот я знаю человека, который, только и делает, что водку пьет; еще знаю другого, который грубит и ругается все время; знаю третьего, который влюблен в Мельпомену... нежнейшие чувства... и четвертого, который пишет замечательные стихи, поэт...

— Ну-ну, — нетерпеливо спросил Сумароков, — ну четыре, и что же?

— А ведь это все вы, Александр Петрович, и все в одном. Вот как перемешано.

— Как у Шекспира! — захохотал Федор

— Болваны, — проворчал Сумароков, — да у Мельпомены свои законы...

Серая рассветная мгла клубилась по комнате. Разноцветная плесень покрывала толстые стены. Куча тряпья громоздилась на грубом топчане. В дальнем углу темнела икона, и жалкое пламя лампадки было не в силах просветлить настороженный лик Николая-чудотворца.

Четыре плохо выбритых, голодных, зябнущих, помятых после сна молодых человека восседали кто где: Федор — на топчане, босые ноги в тряпье; Шумский — на подоконнике, похожий на взъерошенную птицу с длинным клювом; младший Волков — на корточках в углу, в армяке, наброшенном на острые плечи; Дмитревский, словно распятый на стене, худой, дремлющий...

— “Природа! — воскликнул Дмитревский фальцетом, — для чего я девой рождена!.. И мужества за что я лишена?..”

— “Любовник твой идет, — предупредил Федор отрешенно, — ты слабости своей не выдавай...”

Младший Волков выкрикнул из угла:

— “Я жизни без тебя теперь не мыслю! Ну что ж, губи меня, скажи мне откровенно, что я тебе постыл!..”

Федор сказал с топчана строго:

— Пропускаешь, брат, целые фразы... “Чего ты хочешь?..”

Г р и ш а . Ах ты господи, и впрямь... “Чего ты хочешь от меня? За что вдруг стала холодна со мной?..”

В это время отворилась дверь, и в каморку вошел мальчик с самоваром.

— Ступай вон! — сказал Шумский грозно. — Мешаешь репетировать.

Мальчик поставил самовар на подобие сундука и неторопливо удалился.

— “Чем дольше мы живем, — продекламировал Федор, — тем явственней дыханье смерти...” — Он был печален и далек от всего земного.

Вновь вошел мальчик с караваем хлеба.

— Кому сказано, прочь! — прошипел Шумский, растопырявая руки наподобие крыл.

Мальчик равнодушно пошел к двери.

— Хлеб-то оставь!

— Нет, — сказал Дмитревский, смеясь, — вот какие крыла хороши, — и сам растопырил руки, еще внушительнее, чем приятель.

— Нет, — сказал Федор и словно взлетел над топчаном, — вот как надо...

— Ах ты господи, — вздохнул Гриша, — а самоварчик-то стынет!

И они потянулись к караваю.

Федор, прежде чем откусить от своего ломтя, решительно попробовал голос.

— Хорош, хорош, — сказал Дмитревский, — какая чистота звука... А ведь уже есть в зале некоторые лица, на которые смотреть не противно... — И обведя рукой каморку: — “О небо, преврати наш нищий балаган в цветущий рай! Чтоб мы любви хлебнули хоть немного...”

Федор повторил музыкальную фразу.

Внезапно дверь с грохотом отворилась, и ввалился Сумароков, а за ним — давешний мальчик в обнимку с большой корзиной. В наступившей тишине из корзины были извлечены бутылки, затем — жареный гусь, белый каравай, большой кусок белорыбицы, виноградная гроздь...

— Ой, — сказал Гриша, — белорыбица!

— Что же это такое? — спросил Федор, вглядываясь в посмеивающегося поэта...

...И вот шло пиршество, ожесточенное и стремительное, чавкающее и всхлипывающее, щеки розовели, и по пальцам тек гусиный жир...

— Да что же это такое?.. — Сумароков хохотнул, выпил, утер губы, поднял руку подобно полководцу: — Господа, головкинский сарай кончился! Теперь вы есть придворная трупша... Жалованье — во! Кавалеры!.. Теперь будет кому говорить со сцены великое слово!.. Виват!.. Ура!..

— Ура! — крикнул Гриша.

Остальные молчали. Сумароков вскочил, его распирала



радость. Он толкал комедиантов в бока и плечи, подзадоривал их: “Ну! Ну же!..”

— Так, — сказал Федор. — Опять своего театра не будет. Так...

— Ура! — кричал Сумароков. — А придворная труппа это не театр?! Ура же, черт возьми! Ну, ну же!.. — И он ухватил рукой конец веревки, и потянул, и раздался одинокий удар тяжелого колокола: — Ну, да ну же, да давай, давай!.. — И снова потянул, и вновь зарокотал басовый. Перезвона не было. Все сидели неподвижно.

— Вчера вечером, сударь, я прямо слезами обливался, когда вас на казнь вели, — сказал пухлощекий мальчик Федору. Он семенил рядом с кумиром, одетый в камзолчик и треуголку, тоненький и круглолицый, как барышня, и, как барышня, заглядывал ему в глаза. — Какой вы были герой, сударь, и голос у вас такой громогласный, божественный — мурашки по коже...

— Ах, оставьте, — сказал Федор трагически, — мне не до ваших комплиментов... Пожар в моей груди! Злой рок меня преследует всечасно!

Мальчик отбежал в сторону и словно художник любовался оттуда своим божеством...

— Шли бы вы домой, — сказал Федор, — ну право же... Мне не до разговоров нынче.

Мальчик благоговейно отстал, но продолжал следовать за кумиром...

— А знаете что, — сказал мальчик, — я загорелся в своем имении театр начать. Вот только маменьку упрошу...

— Возьмите меня в компаньоны, — сказал Волков то ли с насмешкой, то ли с надеждой.

Мальчик обогнал Волкова, остановился с поклоном:

— Извольте, сударь, осчастливьте. — И засмеялся.

— Вчера пришел господин Сумароков, князь суеты, — сказал Федор, — и сообщил, что я есть придворный актер!

Мальчик громко смеялся.

— Вам меня не жаль?

— Да вы шутите! — Мальчик продолжал смеяться. Он не придавал значения шуткам кумира, но вдруг помрачнел и тронул Волкова за рукав.

— А что, — сказал Федор, — набрать мешок крыс да в придворный театр и напустить, а?..

— Сударь, — сказал мальчик, — а как же вы станете моим компаньоном?

— Добился все ж таки поэт своей фортуны! — прорыдал Волков.

— Нет, — сказал мальчик о своем, — какой же из вас компаньон? Вы же, сударь, и не дворянин вовсе. Меня же со свету сживут. Как можно... Нет уж, вы по-прежнему лучше, да и государыня вас любит, и я слезами обливаюсь...

— Эка невидаль! — внезапно крикнул Волков. — Он слезами обливается! Глупый мальчик! — И вкрадчиво: — А знаете, почему я грущу, милостивый вы мой государь, кавалер ты мой розовощекий? Да потому что только публика признавать меня начала, а меня от нее — отрывают!.. — И вдруг застонал, схватившись за сердце: — О-о-о-о, все... Конец... Час пробил роковой! — Лицо исказилось, капли пота выступили на лбу, он хрипел, задыхался, медленно оседал, хватаясь непослушными пальцами за стену дома...

— Люди! — в ужасе закричал мальчик, отбегая.

— Ну вот, — спокойно сказал Волков, — и вы меня пожалели! — И утер пот.

Мальчик исчез. Перед ним стоял знакомый дом, и в знакомом окне бельэтажа цветок побагровел и склонился на стебле. Высокий юноша в красном камзоле стоял возле. Шарф на шее, руки опущены вдоль тела. Сестра в темно-зеленом платье, глубокое декольте, коса не заплетена, и поток светлых волос спадает по платью, скрывая левое плечо. Лицо чистое, почти взрослое!..

Они были одинакового роста и глядели на Волкова одинаковыми громадными, немигающими, печальными глазами.

В конторе императорских театров граф Сиверс сказал Федору и Шумскому, словно прочитал по бумаге:

— По случаю тезоименитства высокого гостя, герцога Шверинского, спектакль с вашим участием отменяется, а намечается специальная праздничная феерия с мадригалами, шутивными сценками и хороводами нимф... В этой феерии вам, господин Волков, надлежит пропеть оду, это в начале программы... затем в одной из сценок — изобразить Бахуса покомичней... совместно с господином Шумским, которому исполнять роль несчастного турка. — И протянул листки. — Сие написано господином Сумароковым отменно... отменно...

Два нарядных кавалера, актера придворной труппы, два счастливица, позабывших голод и холод, два напудренных удачника стояли в самых изысканных почтительных позах, и лица их выражали смятение...

— Я готов угодить их высочеству, герцогу Шверинскому, — сказал Федор, — но нельзя ли, ваше сиятельство, и спектакль не отменять... Мы готовы стараться... Нельзя ли?..

— Нельзя, — сказал Сиверс вежливо. — Делайте, как велено, и упаси вас бог чего-нибудь там недоделать... Упаси бог!

На площади тощие майские свиньи копошились в лужах и грязи. Лошадь доедала овес. Куры клевали рассыпанные зерна. Щенок гонялся за петухом. Александр Петрович в турецких шлепанцах на босу ногу, в шлафроке не первой свежести шагал через площадь в сопровождении казачка. Казачок держал в руке дымящуюся трубку с длинным чубуком. У шинка Сумарокова встречали: хозяин со стопкой на блюде, половой с огурцом. Александр Петрович залпом опрокинул стопку, закусил огурцом, постоял мгновение, пощурился, наслаждаясь, ухватил дымящуюся трубку и крупным шагом двинулся в обратном направлении, к дому.

Возле подъезда остановилась коляска. Из коляски вышли два надушенных нарядных кавалера.

— Ну вот, — сказал Сумароков, — другое дело! Теперь милостыню просить не надобно. Экие молодцы какие!.. В экипажах ездят!

Кавалеры были мрачны.

— Шутить изволите, — сказал Федор, — за месяц ни одного спектакля. Это что?..

— Дураки! — сказал поэт, — придворный актер и не должен каждый день лезть из кожи, а после умирать от голода... Придворному актеру нужен свободный кейф, чтобы Мельпомену в суете не спутать с коровой!

— То государыня нездорова, то гости на охоту поехали, то арии распеваем по-французски...

— На той неделе герцога Шверинского ублажали, — сказал Шумский.

— Дураки, — сказал Сумароков уверенно, — я же для вас старался... Актер умирать не должен от голода...

— Умирать не должен, — сказал Шумский, — а играть должен... Я уж и роли позабывать начал...

— А ты, милостивый государь, — крикнул Сумароков, — книжки читай, очищай душу! Неблагодарная свинья! Какую я вам карьеру вымолил! Какую публику нашел! — Вдруг умолк и тихо: — Нельзя всю жизнь голодать, милые вы мои, это унижает искусство... — И снова закричал: — На сцену в рубище выходили! Нельзя... Я плакал, глядя на вас... Латы из крашеной бумаги клеили, сами... Нельзя!..

— Нет, — милостивый государь, — сказал Волков спокойно, — придется нам с вами поссориться... Деньги хорошо, а без волюшки-то как же?..

— Где это волюшку вы нашли? — скривился поэт, — уж не в сарайчике ли ярославском?.. Королевское платье из мешков кроили!..

— А что ж, — сказал Шумский, — что хотели, то и кроили...

— А-а-а! — закричал Сумароков в ярости. — Хотели! Кроили!.. Государыня им квартиры дала, дров — на всю зиму! Жалованье какое, болваны!.. А они о крысах плачут... Мало вас били, дураков! Прохиндеи!..

Пока он кричал все это, размахивая чубуком, они поворотились, уселись в экипаж и покатили... А он все кричал им вслед.

В молодом парке Царскосельского дворца прогуливались дамы и кавалеры, разнаряженные к празднествам. Дневная жара уступила место предвечерней прохладе. Маленький Версаль выглядел щеголевато. Древность не наложила на него своей руки: он был молод, откровенен, почти лишен недугов, не обременен тяжелыми воспоминаниями и не слишком задумывался о завтрашнем дне.

Прихотливый распорядок празднеств был сочинен под призором самой императрицы. И особенно мелочи антуража, едва заметные его детали—все это было сооружено по ее вдохновенному капризу, и она сама, не дождавшись официального начала, закованная в пышный кринолин, окруженная свитой, плыла по аллеям, любуясь собственными придумками и наслаждаясь восхищением спутников.

И как было не восхищаться, если внезапно на полянке, открывающейся вашему взору, возникла прелестная группа пастухов и пастушек, и тонкий голосок свирели, подобно жаворонку, повисал в воздухе... Или, например, на пригорке обнаружилась избушка на курьих ножках, из трубы которой валил взаправдашный дым, а на пороге стояла косматая, крючконосая колдунья, замерев в почтительном поклоне... Или возникал неподвижный, как изваяние, древний рыцарь, или Дон-Кихот выезжал из зарослей на неммыслимом одре...

Великий князь Петр и Екатерина слегка приотстали, чтобы без помех обмениваться привычными колкостями.

— Я знаю, мадам, — сказал он, — что вы, как последняя плутовка, за моей спиной унижаете меня с вашими дружками... Не делайте больших глаз... Вы забывали, сударыня, что она не вечна... — и кивнул на императрицу.

— Как вам не стыдно! — возмутилась молодая женщина.—Я и подумать страшусь, как мы останемся без нее!.. А вы так легко говорите. Каких это моих дружков вы имеете в виду... Государыня стала часто хворать, но это вовсе не означает...

— Как, — рассмеялся он, — вы полагаете, что я всегда буду лишь наследником? Так вы полагаете?.. Значит, вы не готовитесь к предстоящей вам роли? — И с унижающим сарказмом:— Совсем дитя!..

— Прекратите! Прекратите это кошунство!— возмутилась она.

Он переменялся в лице, глаза наполнились слезами, он принялся целовать у нее руку, с жаром, лихорадочно, испуганно...

— Спасибо вам! Спасибо, друг мой. Я сошел с ума... Вы одна умеете поставить меня на место! Вам одной я это позволяю... Этот фаворитишка... этот Шувалов... этот не должен сметь! А вы одна можете. У меня нет друга, кроме вас... Они все смотрят на меня насмешливо. Мне некому... я никому не могу, вы одна... — Слеза скатилась по щеке, он и не пытался смахнуть ее...

— Тогда слушайте меня, — сказала Екатерина, как маленькому. — Вы должны слушать меня во всем, я желаю вам добра...

Он вновь в неистовстве принялся целовать у нее руки, всхлипнул и радостно рассмеялся...

Его смех заставил всех оборотиться.

— А что, мой дорогой племянничек, — спросила Елизавета, — вам это кажется смешным? — И кивнула на римского воина, замершего у куста.

Она узнала Федора Волкова. Он был и впрямь хорош в юбочке из кожи, в кожаном же нагруднике, в каске легионера, с мечом у бедра и щитом в руке...

— Разве это смешно? — повторила Елизавета.

Петр смутился.

— Ваше величество, — мягко вмешалась Екатерина, — напротив, великому князю так понравился сей воин, что он не смог сдержать своего восторга...

— А ведь и впрямь хорош! Это мой сюрприз, — сказала императрица и коснулась Федора: — Я думаю, Теодор, когда ты наш спич произнесешь, они все вообще от изумления поумирают!.. — И она двинулась дальше...

— Вы всегда спасаете меня! — шепнул Петр Екатерине с жаром. — Всегда, всегда! Вы одна, только вы!.. — и вдруг спохватился: — Но вы не думайте, я не так уж глуп. Да-да, не думайте... И потом, не забывайте, что, когда вы сможете назвать себя императрицей, императором-то буду я!..

— Успокойтесь, — шепнула она, горестно ломая руки, — я не буду императрицей, я уйду в монастырь.

За ближайшим поворотом Чашкин старательно подрезал веточки на кустах.

...Федор обернулся и увидел Екатерину. Она была одна.

Е к а т е р и н а . А что, хороша комедия, которую я вам нашла?

В о л к о в . Комедия-то хороша, ваше высочество, да мы давно уж вместо серьезного театра этим заняты. — И он ткнул себя пальцем в бутафорские латы.

— А Александр Петрович... — Но тут она приложила палец к губам и загадочно улыбнулась.

— Нет, вы посудите сами, ваше высочество, каково мне?— продолжал Федор со страстью. — Рожденному в объятиях Мельпомены, каково мне!.. Я как утес, не омываемый волнами, как дерево, лишенное кроны. — И уже без пафоса: — Разве истинный актер может без сцены? Я, проникший в самые глухие тайны искусства, вынужден стоять перед вами в этом прекрасном одеянии, но безмолвно и напрасно, а яд, отравивший меня в юные годы, ваше высочество, этот яд продолжает точить меня изнутри, сжигать, а я должен сдерживать его и не давать ему выплеснуться в благодатном порыве!

Екатерина (смеясь). Bravo! Великолепно! Но отчего всех этих жалоб не выскажете вы императрице?.. Государыня очень к вам благоволит, а я бессильна...

Волков (застонал, замотал головой). Все лопнуло, театра, почитай, нет. Играем при дворе как из милости. Сиверс и Александр Петрович друг друга ненавидят. И вообще мы никому тут не нужны...

Екатерина. Ай-яй-яй, Теодор, какой вы неблагодарный! Кем вы были несколько лет назад? (И насмешливо.) Жалованье у вас! Шпагу пожаловали! Квартиру дали!.. Милостями осыпали!..

Волков (в протрации). Да-да-да, и я по гроб жизни благодарен ее величеству. Да-да... только ведь я, ваше высочество, чокнутый... (Она не поняла, приподняла бровь.) Чокнутый, чокнутый... влюбленный, ваше высочество...

Екатерина (изумляясь). Влюбленный?.. В кого же? Кто эта счастливица?

Волков. Мельпомена. (И вздохнул.)

Екатерина. Чок-ну-тый?.. (И расхохоталась.)

Волков. Несравненная Мельпомена, с которой я разлучен. И у меня ничего не осталось, кроме этого наряда...

Екатерина. Как мы с вами похожи! У меня ведь тоже ничего нет. (Обвела рукою пространство.) Это ведь все — не мое. (И мягко, полупшепотом, печально.) Ах, Теодор, какой же вы, однако, безумец! Или вы верили, что вас понесут на руках? Как это: жить среди волков — выть, как они? Да?.. (Она протянула ему руки.) Вот руки, которые должны бы для вас это совершить... Но что я могу одна? Я так же одинока, как и вы, и так же бессильна, и так же совсем-совсем бедняжка... Мне платят гроши... (Большие серые глаза внимательно остановились на его отрешенном лице.) Я нищенка, майн фройнд.

Неподалеку Чашкин тыкал тростью в клумбу, выковыривая червяков.

Екатерина. А как вы думаете, вы смогли бы обойтись без Александра Петровича? *(Он молчал.)* Ну, ну, ну?..

Волков *(напрягшись)*. Я очень его люблю, но он человек конченный...

Екатерина *(смеется)*. Вечное движение! Как это: что поедешь — то и поймаешь? Да?.. *(И строгим шепотом.)* А ежели вы мне станете нужны, я кликну вас?

Волков *(восторженно)*. О-о!..

Екатерина *(уходя, оборачивается)*. Кстати, забыла вас поздравить: ее величество приняла отставку Александра Петровича и назначила директором российского театра вас!..

И помахала ему ручкой уходя, видя, как вытягивается и пунцовеет лицо римского легионера.

Лилового бархата халат на Александре Петровиче запахнут был небрежно, мятый воротник несвежей сорочки воинственно топорщился вокруг небритого подбородка, руки безвольно скользили по скатерти, словно искали чего-то... Полная до краев рубиновая стопка да пузатый графинчик уже не привлекали его внимания. Воспаленные глаза напряженно уставились на что-то в углу, словно хотели проникнуть вглубь, дальше, сквозь стену, вдаль невидящим, едва мерцающим взором. Полные губы слиплись в горчайшей ухмылке. Только изредка из них вырывалось вдруг презрительное бормотание, а потом вновь все стихало, и лишь громкое всхлипывание старинных часов нарушало тишину.

— Эпикур жил в саду, а я в аду, — бубнил он. — Все справедливо... каждому — по заслугам... Он пил нектар, а я — смертную чашу!..

В это время дверь неслышно отворилась, портьера раздвинулась, осторожно, на цыпочках, вошел слуга, ласково щурясь, и робко прошептал:

— К вам Федор Григорьевич.

Сумароков не пошевелинулся, только руки судорожной зашуршали по столу да язвительная гримаса явственной проступила на лице.

— Федор Григорьевич пожаловали, — растерянно повторил слуга. И неотразимая фигура гостя чуть показалась из-за портьера.

Александр Петрович все не шевелился. Наконец, после мучительной паузы губы его дрогнули, и, все так же глядя в никуда, он с расстановкой отчеканил:

— Это какой же Федор Григорьевич? Новый директор моего театра, что ли? Который меня... — Он махнул рукою. — Который вместо меня теперь? Купец этот... сперва меня купил... а

потом и продал,.. как свиную тушу... Пришел, значит! Не побрезговал бедным поэтом... И чего ему здесь надобно? Чинов мы не раздаем, над званиями не властны... да и денег у меня нет... Скажи ему — нечего ему здесь делать... Пошел вон! — И непонятно было, относилось последнее к слуге или к самому незваному гостю, но Александр Петрович при этом так ретиво стукнул кулаком по столу и рубиновый стаканчик так угодливо подпрыгнул, вино так расплескалось, что лицо Федора напрялось, щеки залились краской, и рука судорожно вцепилась в край малиновой портьеры.

Сам себя я ненавижу,  
Не страшуся ничего,  
Окончания не вижу  
Я страданья моего, —

почти скороговоркой продекламировал вдруг Сумароков, и прояснившийся на мгновение взгляд его уставился прямо Федору в душу.

Федор молча вышел.

Директорство Волкова началось со срочной поездки в Москву. Ему вместе с генералом Игнатьевым велено подобрать актеров и актрис для столичной придворной сцены.

И вот за кулисами московского университетского театра царили нервная приподнятость, радостное оживление, вожделенный трепет: приехал Федор Григорьевич Волков, сам, собственной персоной, красавец брюнет, петербургский щеголь, директор российской сцены, с розанами на щеках, помахивая, потряхивая дорогой тростью, поигрывая шелковыми ресницами, — приближенный императрицы, облеченный ее доверием, вознесенный данной ему властью вершить чужие судьбы.

Волков. Из вашей прелестной труппы я беру, друзья мои, четырнадцать человек... В Петербурге условия, разумеется, превосходные, не сомневайтесь... Ее величество распорядилась главным образом актрис хороших привезти. И чтоб все — красавицы. Ну... думаю, тут она мною вполне довольна будет: у вас здесь прямо оранжерея заморская... груда брильянтов... глаза мои ослепли от блеска!.. — И он прикрыл даже шелк ресниц кокетливой белой рукой, успев выразительно глянуть на зардевшуюся Троепольскую, молодую стройную красавицу актрису. — А что касается труппы нашей — она вам известна. Теперь мы при дворце процветаем, как говорится... Крыс нетути... Правда, с репертуаром трудновато: этим — не угодишь, тем — не потрафишь... Ну да где наша не пропадала!.. Зато как сыты-то будете... *(И начал играть, выламываться.)* А насчет театру — так



с набитым животом и играть-то не к чему... Кому оно надобно, это искусство, когда ты сыт и в утробе у тебя благодать, и губы масляные слов трагических говорить не хотят, а?

И все понимающе улыбались, доверительно перемигивались, заговорщически кивали. Речь Федора Григорьевича пришлась по душе, да и сам он чем не купец, торгующий теперь нехитрые их души, полные божественного огня.

— Федор Григорьевич, голубчик, а меня возьмете?

— Ну, Федор Григорьевич, если меня не возьмете, я из окна выброшусь, честное слово!..

— Возьму, возьму...

Только Троепольская молчала...

Вдруг чья-то ласковая ручка водрузила бумажную корону на темные кудри Федора, и все склонились в глубоком театральном поклоне...

— Как вы добры, ваше величество...

— И как вам корона к лицу!..

А он вдруг помрачнел, затуманился, какая-то складка перерезала розовые щеки, волосы потускнели, и из горла вырвался нервный сухой кашель.

— И куда вы так стремитесь-то, птицы небесные?.. Да разве тут вам нехорошо? Играете себе в удовольствие в своей сараюшке... Ишь, столицу им подавай... При дворе играть! А знаете ли вы, как ужасно... — Тут Федор Григорьевич обернулся, наконец, и увидел вокруг настороженные, испуганные глаза, всмотрелся в напряженные лица артистов и махнул рукой, и потом сразу вдруг расцвел, приосанился:

— Знаете ли вы, как ужасно волнует меня то великое счастье, что выпадает вам на долю, — быть избранныками мудрой воли ее величества?

Все молчали потупясь.

В это время дверь распахнулась, занавес забился словно от сильного ветра, и вбежавший без сил, в поту и слезах генерал Игнатъев выкрикнул в испуганные их глаза:

— Ее императорское величество... государыня императрица... вчера ночью скончалась!— И судорожно перекрестился.

И все тоже закрестились, начался шум, сперва едва слышный, потом громче, чей-то испуганный вскрик, молитва, шепот, приглушенные рыдания и что-то еще — будто звуки траурной музыки, плывущей издали, похоронный хор да торжественное шарканье тысяч ног...

И в оплывающих свечах заколебалось скорбное пламя...

— Надо в Петербург!.. Скорее! Сегодня же! — залепетал Игнатъев. — Господь, спаси и помилуй рабов своих!.. Горе какое...

— Горе какое! — как эхо откликнулся Волков. — Горе большое. Да в Петербург я не поеду! Матушка императрица Елизавета Петровна дала мне приказ хороших артистов для ее театра набрать. Теперь, видно, и время до конца ее последнюю волю выполнить...

Он повернулся и пошел. Большие грустные глаза Татьяны Троепольской, не отрываясь, не мигая, изумленно глядели ему вслед...

...И вот уже вереница саней готова отправиться в путь от почтовой конторы, и сытые кони, как говорится, бьют нетерпеливым копытом. Уже увязаны, уставлены, размещены узлы, сундуки и баулы, и в последний раз перед дальней дорогой двое солдат во главе с унтер-офицером, назначенные для сопровождения, обходят веселый поезд, проверяя и пересчитывая что-то. Федор Григорьевич тоже тут: он деловито оглядывает подводы, озабоченным глазом засматривается на лошадей, стучает тростью, хмурится на хмурое небо, улыбается, и ему из саней улыбаются, кивают, подмигивают хорошенькие личики юных путешественниц.

— Федор Григорьевич, не грустите, скоро в Петербурге увидимся!..

— Федор Григорьевич, скажите на прощанье что-нибудь трогательное!

Щебет, смех, восклицания, непонятный, печальный, бархатный взгляд Троепольской...

— А знаете ли вы, на что себя обрекаете?.. — грустно усмехнулся он. — Понимаете ли, куда едете? Какие разочарования, какие соблазны, какая нелегкая жизнь вас ждет впереди?

И чья-то прелестная ручка вдруг вынырнула из-под медвежьей полости и погрозила кокетливо.

— Не каркай, старый ворон! Мельпомена не простит!..

— Простит, простит! — задумался Федор, — у меня с этой дамой совсем особые отношеньица... — Взглянул украдкой на Троепольскую: все те же тихие, вопрошающие, ласковые глаза... — Старая испанская поговорка: “Возьми все, что хочешь, — сказал господь... — Возьми, и заплати за все...”. За все надо будет платить... Даже... когда платить уже будет нечем...

Он взмахнул рукой:

— Ну, трогай! Счастливого пути!..

Подводы тронулись...

Спустя месяц и Федор Григорьевич вернулся в Петербург. Как будто бы все было прежним, но это лишь на первый взгляд. Какой-то иной, печальный дух витал меж домами, и какие-то

незнакомые, неведомые солдаты маршировали по улицам, словно прусское войско покорило Северную Пальмиру. И укороченные прусские кафтаны на плечах господ, и трясущиеся косички из-под треуголок, и на дамах... — все было незнакомым, и холодным, и опасным.

Он велел кучеру ехать к бывшему Головкинскому дому. Мрачное здание было еще мрачнее. Входная дверь была забита досками крест-накрест. Волков вылез из экипажа и постоял перед дверью. Затем заехал к Шумскому. У того теперь была уже семья, и красавица Машенька тихо сидела в углу, не сводя с мужа огромных глаз. Яков и Федор долго молчали.

— Что же это за наваждение?! — наконец не выдержал гость.

— Великие преобразования! — с насмешливым пафосом проговорил хозяин. — Нынче опять не до нас, Федор Григорьевич...

На полу у ног его сидел все тот же “друг сердечный”, только изрядно постаревший.

— А как новый император нас любит? — обратился к собаке Шумский.

Собака зарычала, ощетинулась.

Федор невесело рассмеялся.

Император Петр III шел по коридору дворца, не сгибая ног. Он был в отменном прусском мундире, сшитом почти из железа. Тугой воротник сжимал горло. От этого его лицо было налившимся и неподвижным. Он одним толчком распахнул тяжелую дверь. Екатерина встала навстречу и поклонилась.

— Хватит! — сказал он с порога. — Я не намерен, сударыня, постоянно видеть ваши укоряющие взоры... Хватит! Я приму меры!.. Вы и ваши дружки не смеете меня укорять!.. Я найду вам место!..

— Что так расстроило вас, ваше величество? — спросила Екатерина холодно, но без вызова. — Разве я подала повод? Вы распорядились закрыть домашние церкви, и я лишь грустила про себя, не более.

— Мне надоели эти русские бородатые попы! — сказал он раздраженно, но неуверенно, — их слишком много!.. Они как тараканы... — И рассмеялся и тут же крикнул: — Я знаю, о чем вы мечтаете. Меня не проведешь! Запомните: я намерен быть великодушным, но... не искушайте меня!..

— Ваше величество, — сказала она с покорностью, — разве вы сомневаетесь в моей преданности?

Он снова расхохотался, погрозил ей пальцем:

— Сударыня, ваша чрезмерная преданность так умиляет меня, что я от страха не сплю по ночам... — И стремительно вышел, хлопнув дверью.

Екатерина помедлила, а затем отдернула тяжелую лиловую портьеру, драпирующую угол возле изразцовой печи. В комнате вошли несколько молодых красавцев во главе с Григорием Орловым. Среди них был и Федор Волков.

В комнате с низким потолком сидели молчаливые господа. Они сидели кто где. Некоторые даже на подоконниках, спинами к ночи. Они были одеты кто во что. Были на них и офицерские мундиры, и камзолы, расшитые золотом, и скромные кафтаны, а на одном — даже шлафрок... Лица были неподвижны, словно восковые. Взоры мрачны. Могло даже показаться, что все они находятся меж собою в глубокой ссоре. Горели свечи, курились трубки, на овальном столике громоздились недопитые бокалы. Каждый демонстративно держал в руке свой парик с длинной косичкой. Время от времени раздавался тяжелый вздох. Все это длилось долго.

Наконец Федор Волков отошел в дальний угол комнаты и вынес оттуда на свет большой, писанный маслом портрет нового императора. У государя было продолговатое юмшеское лицо и чуть скошенный наивный взгляд. Ни одутловатости, ни преждевременных морщин. Треуголка, шарф, голубая лента через плечо.

Федор поставил портрет на ломберный столик у стены так, чтобы все могли видеть. Это не вызвало оживления. Все остались по-прежнему немые и угрюмые. Тогда Федор положил портрет на стол и несколько раз провел по холсту ножом. И вот вместо лица императора зазяла пустота. Подняв портрет, он поместил в той пустоте свое лицо, правой ладонью коснулся эфеса шпаги, отставил ногу. Получилось весьма картинно.

— Вы презирали мои достоинства, — спокойно сказал “император”, даже с легкой улыбкой, — я заставлю вас обожать мои недостатки... Мне не нужны думающие холопы, мне нужны исполнители моей воли... — Помолчал и продолжал с надрывом: — Конечно, если меня сильно испугать... испугать...

— Достаточно, — сказал граф Панин мрачно.

Этот июньский день выдался бурным, а ночь и того пуще. Когда Екатерина с помощью своих “друзжков” совершила в Петербурге переворот, император Петр Федорович, ничего не подозревая, катался с веселой свитой в заливе на яхте. Покуда новость разлетелась из Зимнего дворца по изверившейся столице, а по дворцовым коридорам двигались вооруженные гвардейцы с вдохновенно горящими взорами, откровенно хмельные и напористые, теперь уже бывший император сам разливал шампанское по бокалам на палубе яхты, под звуки оркестрика и дамский хохоток...

К вечеру белая яхта причалила к пристани, где ее уже ждали. Екатерина в наброшенном на плечи гвардейском ментике стояла на высоком берегу. Вокруг расположились ее молчаливые приверженцы. Среди прочих — Федор Волков. Он был в нарядном камзоле и при шпаге. Закусив губу, Екатерина видела, как группа преданных ей гигантов, бряцая оружием, остановилась у причала, как размахивал руками отрезвевший Петр, хватался за шпагу, норовил в отчаянии убежать, просил, складывая ладони, топал ногами в ботфорте. Затем двинулся в ее сторону, окруженный гигантами. Лицо перекошенное, заплаканное...

— Они хотят меня убить? — спросил полушепотом. — Что я вам сделал?.. Я согласен на все ваши условия... Я согласен...

— Друг мой, — сказала она, волнуясь не меньше его, — вам ничего не грозит. Так было угодно богу и России... Ничего не бойтесь, друг мой...

— Я на вас не сержусь, — сказал он жалобно. — Я хочу уехать в Пруссию.

— Нет, вы поедете в Ропшу, — произнесла она неожиданно твердо. — Там все для вас приготовлено. У вас будет прелестный замок и все, что пожелаете... — Один из гигантов хмыкнул, но тут же умолк под ее взглядом. — Проводите великого князя, — приказала она и долго глядела, как сутулого Петра и некоторых из его свиты рассаживали по каретам, и они тронулись, и всадники поскакали следом.

Екатерина глубоко, с облегчением вздохнула.

— Нельзя терять ни минуты, — сказала она, помрачнев.

...Ближе к полуночи кавалькада, вздымая клубы пыли, остановилась перед большой церковью. Яркий свет лился из окон и распахнутой двери. Священник в праздничном облачении и с иконою стоял на пороге. Их ждали. Екатерина, а за ней остальные вошли в храм, заполнив его до отказа. Было жарко, таинственно, торжественно, нервно...

— Читайте манифест, — сказал один из гигантов, сопровождавших Екатерину.

Произошло движение, шум, но чтения не последовало.

— Манифест... Манифест! — пронеслось над головами.

— Манифест! — сказала Екатерина нервно. — Ну, что же вы?..

И тут через толпу пробился Федор Волков, встал рядом с Екатериной, развернул лист бумаги и начал читать. Она широко раскрыла глаза... Внезапно он сильно закашлялся, с трудом подавил кашель и начал читать. Он читал эти напыщенные, высокопарные многовековые слова словно любимую роль:

— “Мы, милостию божией...”

Ему внимали с благоговением... Некоторые плакали, Екатерина, привстав на цыпочки, заглянула через плечо Федора. Он читал по пустому листу. Она вздрогнула. Он читал с упоением и страстью и помогал себе свободной рукой, и был высок ростом, и сладкоголос.

Затем свернул лист в трубочку и торжественно подал ей. Она посмотрела на него так, чтобы он не сомневался,— она все поняла, и оценила, и запомнила...

Пришли иные времена...

И вот Екатерина медленно шествовала по залу, по живому коридору придворных, в сопровождении своих “самых-самых” из всех. Она была та же, что и всегда, и все-таки что-то такое в ее походке, в выражении лица, в том, как она кивала направо и налево, говорило, что многое переменилось. Вдруг взор ее приметил Федора Волкова, почтительно неподвижного, почти незнакомого. Она остановилась перед ним.

— Служители Мельпомены, как застоявшиеся кони, готовятся к новым подвигам?— спросила очень по-дружески.

— О, ваше величество, — задохнулся радостно Федор, — завтра начинаем репетировать “Тартюфа”... Какие характеры, ваше величество!

— Как приятно, — заметила она. — И после паузы: — Но это лучше начать послезавтра, Федор Григорьевич. А завтра... завтра, я полагаю, нам следует хорошо повеселиться. — И обернувшись к “самым-самым”: — Мы заслужили праздник, не так ли, господа? Кому, как не вам, Федор Григорьевич... кому, как не Федору Григорьевичу порадовать нас грандиозным карнавалом? — Он поклонился. — Не правда ли, господа? Думаю, месяцев трех-четырёх на подготовку вам хватит, поедете в Москву, и — поближе к рождеству... Ну, конечно, наберите себе самых блистательных помощников... Да, кстати, Сумарокова не забудьте, Александра Петровича, а то он нынче не у дел, не заkis бы... — И вновь своим ближайшим: — Я уже предвкушаю будущее наслаждение! И Москву хочу благодарить!..

Она одарила Волкова самой обольстительной из своих улыбок и направилась дальше.

Александр Петрович в неизменном шлафроке, гримасничая, искажая и без того помятое, трагическое свое лицо, демонстрируя давнюю обиду, крикнул Федору:

— Прочь, прочь! Чего пристал! Чего вам от меня надо?! Вы хотите втянуть меня в новую интригу? Интриганы!.. Я выше интриг. Я Сумароков! Чего усмехаешься?.. Какие еще планы?.. Какая еще...

Федор тронул его за плечо, как ребенка, пребывающего в коротком детском отчаянии.

— Ну, Александр Петрович, ну, голубчик, ну поймите, ну вслушайтесь... Императрица пожелала, чтобы всенепременно вы... Вы ее всегда обожали... Ну Александр Петрович!..

— А что я могу?!— крикнул поэт. — Я ничего не могу... Из меня лезут зловещие сарказмы, как черви из весенней земли! Я меняю обличать, а боготворить я разучился. Я стар для ваших шалостей!..

— Вот и чудесно!— сказал Федор. — Я придумал для маскарада шествие пороков, представляете? Не только добродетели будут украшать этот праздник, но и мерзейшие пороки человечества, обличающие сами себя! Представляете? Вы тут и нужны с вашим острым словом...

— Пороки? — удивился поэт, всхлипнув. — Так прямо они и пойдут перед императрицей, хуля себя? Да ты рехнулся, ярославец! — Однако гримаса отчаяния меж тем покинула его лицо, и огонь любопытства и интереса вспыхнул в тусклых глазах: — Деспота повезут на колеснице, и он будет выкрикивать мои сатиры? А рядом будет ехать ложь, отвратительная, подлая, с длинным носом, чтобы российское общество видело? Чтобы сорвало с глаз своих шоры? А рядом будет ехать мздоимство? Возможно ли такое?! Да неужели?..

— Ну вас к чертям, — сказал Федор, — с вашими капризами. Ровно девицу уговариваю, уговариваю.

— А кто вам, дуракам ярославским, дорогу открыл?!— снова крикнул Сумароков. — Мало я крови на вас потратил?

— Надоели ваши капризы, — сказал Федор. — Так вы и дальше будете мне душу рвать, мешать будете... А я-то раз мечтался, что этим маскарадом... этим театром гигантским... мы с вами мир перевернем! Тысячи зрители нас увидят и услышат... Гуляй, Москва! — И тут он вдруг затрясся в долгом кашле.

— Да вы не расстраивайтесь, Федор Григорьевич, — внезапно по-отечески сказал поэт, — я вот он, весь ваш, Федор Григорьевич. Просветим Россию!..

...Он вел Федора за руку через площадь мимо извозчиков и торговок. Два прекрасных барина— один в камзоле и буклях, другой в шлафроке, без парика, нечесаный и вдохновенный. У входа в трактир уже стоял мальчик с подносом, на подносе холодела стопка, и покачивался малосольный огурчик. Поэт оттолкнул мальчика и потянул актера в темень...

В грязной полутьме трактира он закричал, как у себя дома:

— Игнатий, штоф!

И тотчас стол украсился штофом, рюмками...

— А это кто такие?— удивился Сумароков и пальцем ткнул

в притихших мужиков, купчишек. — Пошли прочь! — И Федору: — Господи, какие времена наступили! Какие времена! Какое раздолье вдохновению!

— Забудьте обиды, — сказал Федор, — перед лицом таких возможностей...

— Нет-нет, я обид не помню, — засмеялся Сумароков, наполняя рюмки, — обидчиков помню, вот беда...

## Эпилог

Рассказывали, что всю последнюю неделю перед маскарадом Федор Григорьевич метался как в горячке по московским улицам — распоряжался, устраивал, приказывал, располагал... И вот уже невиданное в России уличное маскарадное представление “Торжествующая Минерва” — его грандиозное детище, гигантское чудовище, монстр, шествие ряженных, артистов, хористов, музыкантов — было готово в срок к коронационным торжествам.

Ревели медведи, большие, средние, маленькие, ревели, ворота морды от полыхавших костров, растянувшихся вдоль Басманной, Мясницкой, Петровки... Заиндевели верблюды грациозно опускались на колени, и меж их горбами укладывались мнимые вьюки, и турки в белоснежных чалмах пробовали, удобно ли будет восседать на царях пустыни. Вот рыцари Белой и Алой розы бросались друг на друга, в котором уж поединке проверяя тяжесть бутафорских мечей. У дощатого балагана перед костром устроились маскарадные мастера. У следующего — художники докрашивали, домазывали, дорисовывали, доводили до совершенства маскарадный инвентарь. Примеры преобразили русских в арапов, немцев, китайцев, татар, оборванцев в богов, безбородых украшали бородами, низкорослым надставляли каблуки...

Тот самый розовощекий мальчик, пожалуй, даже не мальчик, а уже юноша, ухватил Волкова за полу:

— Милостивый государь, вот и я! Я готов изобразить скупость, скарденность, стяжательство! Вы только займите меня. Уж ежели простых людей приглашаете, так уж меня-то... Я такое могу, что вы ахнете, ей-богу!

С у м а р о к о в. Вот-вот, черт побери, я вам напеку пороков, вы только изображайте. Наконец-то мы сподобились обо всем начистоту говорить!

В о л к о в. Александр Петрович, вы только не переусердствуйте. Юноша, я рад вас видеть. Вы лучше сбегайте на Мясницкую, поглядите, как там подготовка идет, не надо ли чего... Там



братец мой, Григорий Григорьич, командует. Бегите, бегите! (Сумарокову.) Не забывайте, что это не суд, а праздник воцарения... (И сильно раскашлялся.)

Сумароков. Вот-вот. Новая правительница должна знать, что у нее в государстве происходит...

Волков. Да она и без вас знает... Мы показываем пороки, чтобы потом, в конце маскарада, развенчать их...

Сумароков. Ты, Федя, стал барином. Из грязи в князи... Теперь боишься гнева богов, боишься... Вижу!

Волков. Беда мне с вами! Вы ровно дитя, Александр Петрович. Вам бы только дразниться!

Сумароков. Я не дразнюсь — я поучаю. Эх, вы...

...На временных подмостках красовались развалины древней стены, и женщине, похожей на жрицу, сам Федор Григорьевич Волков насурмливал брови. Над городом снижался туман. Мороз разыгрывался пуще. Волков в распахнутом полушубке, на лбу крупные капли пота, взгляд отрешенный... Жрица с насурмленными крыльями бровей осталась греться у костра, кутаясь в овчинный тулуп, а главный устроитель празднеств уже несся в дровенках по Мясницкой, по Петровке, пробиваясь сквозь разряженные, ревушие, замерзающие толпы.

Шумский (весь в ажиотации, полубезумный). Федя, я насобирал баб со всех московских дворов. Я им по три целковых плачу. Можно?... Ну убийство! За мной же мужья с поленьями гоняются — убить хотят! Дай мне охранную грамоту... Вон я всех баб во дворе собрал, теперь что?

Волков. Они будут хором славить Минерву. Вели костюмерам подобрать им платья...

Шумский. Ой, померзнут!

Волков. За три целковых из казны не померзнут... Послушай, а почему ты их собирал, а не мой Гришенька? Я же его снарядил...

Шумский. Твоего Гришеньку чуть было не убили. Он возле одной очень зашустрил... Шубку распахнул. Тайные сигналы подавал... Пришлось ему убежать...

Волков. А сейчас-то где?

Шумский. По Москве бежит, где же еще. Вот сейчас, знать, за Сенным рынком уже... В шубе бежать тяжело... Слушай, Федор, мне кажется — все-таки мавров у нас мало! Говорил же я тебе!..

Волков. Ничего не мало!

Шумский. Нет, мало!

Волков. А ты разжуй — будет много.

Граф Сиверс (из саней, шутливо). Я, управляющий

придворными театрами, сбился с ног и никого разыскать не могу! Вот вы где... А что это у вас не праздничные лица?

Шумский. Гришу Волкова мужики побить хотят.

Сиверс. Актер должен страдать... Кстати, судари мои, я вспомнил один мотивчик, который должен вам понравиться. Под него можно петь, плясать, ходить на руках, что угодно. Вот, например (*играет очень хорошо на флейте*), каково?

Волков (*с трудом*). Любопытно.

Шумский. Потрясающе!

Сиверс. Когда-то я покойную государыню очень умел развеселить этим мотивчиком, да еще я при этом плясал... Вот это было!

Шумский. Сумароков сочинил куплеты пьяниц, а музыки нет. Можно под эту? Подходит.

Сиверс. Каких еще пьяниц?! Вы хотите испортить праздник? Вам что, больше всех надо? Не мудрите, господа, не мудрите...

Волков. Да нет же, ваше сиятельство, тут вот что: пьяницы-то поют, но перед взором Минервы порок-то гибнет, вот какой замысел...

Сиверс. Ну и дураки... Вечно всякие намеки. Будто нельзя просто сплясать с задором.

Волков. Ее величество знает обо всем...

Сиверс (*отъезжая*). Дураки, дураки... Ну ладно, поглядим. Но вы подумайте, знатный мотивчик: покойная государыня мне даже перстень подарила. Вот он!..

...Волков задержался возле изысканных, напомаженных, утонченных кавалеров, показывая им головокружительные па, затем его видели среди пляшущих цыган надрывно кашляющего, расставляющего их правильным полукругом... Сатиры трясли перед ним козлиными бородками. Лень, Скупость, Лицемерие и Мздоимство выкрикивали ему свои монологи...

Сумароков. А вот эти, Федя, изображают мою сатиру на пьянство. Ну-ка, судари, приготовьтесь, начали!

На заброшенном пустыре шесть молодых, разбитных, веселых, празднично разодетых москвичей, взявшись за руки, задвигались, закачались, заулыбались и лихо грянули куплеты пьяниц, подмигивая друг другу и окружающим:

Пьем и день, пьем и ночь,  
Тоска-печаль, пойдя прочь!  
Беда-горе, прочь пойдя:  
Бахус пляшет во груди!

Шумский. Ой-ей-ей! В трактир захотелось!..

Волков. Ну, Александр Петрович, удружили. Их послушать — и впрямь в трактир побежишь.

Шумский. Хочу быть красивым и хмельным!  
“Пьяницы” снова запели:

У нас красные носы,  
Мы нечесаны, немыты.  
По трактирам и шинкам  
Очень крепко знамениты.  
По грязи на брюхе ползать —  
Вот уж, право, наслажденье!  
Мы — чудовища на вид,  
Вызываем омерзенье!..

Сумароков. А что? Стихи плохи?

Волков. Носы им красные из папье-маше наклеить надо.  
Тулупы наизнанку вывернуть. Чтобы на зверей походили!

Сумароков. Нет, ты мне скажи, стихи каковы?..

Шумский. Вам, черти, по пять целковых из казны платят,  
чтобы вы порок представили... Какое уж тут веселье?..

Гриша. Федя, ты дрожишь весь.

Волков. Задрожишь тут.

...Волков заходился от кашля, вытирая пот кружевным платочком и неумело прикрывая лапами полушубка непослушное, замерзающее тело.

Розовощекый юноша нашел его в толпе.

— Я сейчас бежал с Петровки и думал: какой грандиозный театр! — воскликнул он восторженно. — Какой спектакль неслыханный! Вот бы на площади сцену построить... Наверное, во Франции таких театров и в помине нет...

Волков притворялся, что полон интереса к пустым фантазиям юнца.

— Что это вы нараспашку? — спросил юноша. — Январь ведь.

— Жарко, — сказал Федор сухими губами, — и ноги свинцовые. Мне бы поспать часок... — И помолчав: — Конечно, завтра вся Москва наше шествие увидит. Какая зрительная зала, а?!..

В последний раз его видели возле Бахуса, пробующего свой голос. Потом он куда-то запропастился... Затем все заволочло дымом от костров, от факелов, все заглушили крики, выстрелы, хохот, причитания...

Неторопливо и шумно катил по улицам Москвы праздничный поток, озаряемый тысячами факелов. Вверху, в доме Бецкого, перед распахнутыми громадными окнами устроилась, как в ложе, в окружении придворных только что коронованная Минерва. Здесь мороз был послабее. Улыбка удовольствия не сходила с ее молодого розовощекого лица. Размах празднеств поразал.

— Бр-р, какая отвратительная Скупость! — воскликнула она с удовольствием, указывая сидящему рядом с ней красавцу Алексею Орлову Скупость, которая, кривляясь там, внизу, выкрикивала свои жалкие оправдания.

— А это что за чудовище?— спросила императрица смеясь.

— А это, ваше величество, фигура... — неуверенно забормотал стоящий за ее спиной Сиверс.

— Ну?

—...долженствующая обозначить это...

— Ну, ну?

Внизу проплывали подмости, на них топтался великан с отвратительной маской, в одной руке он сжимал меч, в другой цепи, толпы ревели вслед...

— Боюсь, что это может показаться вашему величеству оскорбительным...

Она нахмурилась:

— Да говорите же!!!

— Это Деспот, ваше величество...

— Так что же?— Она расхохоталась. — Разве это имеет ко мне отношение?— спросила снисходительно. — Хулят-то деспота, а я ведь ваша мать, как сами вы это утверждаете... Нет-нет, пусть они шумят, пусть!.. Для них фейерверков жалеть не надо... — И совсем интимно, расслабленно: — Вот я иногда сижу перед зеркалом и думаю, я некрасива, не так уж умна, за что же они меня любят? А ведь они любят меня... Наверное, за то, что я добра... и справедлива. Я добра... Я никогда никого не обижаю... — И снова обратила заинтересованный восхищенный взор на поток: — О-о, как красиво!.. Какие выдумщики!.. А где же наш кумир — Федор Григорьевич?

— Говорят, господин Волков простыл очень и в горячке, ваше величество, в горячке...

— Ну вот, — сказала она огорченно, — этого еще не хватало!.. Да что же это он?.. И что же?..

— Очень плох, ваше величество... Совсем, говорят, плох...

— О господи, зачем же ему было так усердствовать? Зачем, бог мой? Разве его без этого не любят? Разве мы его и так недостаточно любим?.. И кому нужны такие усердия? Ах, какой все-таки безумец!..

Поток клубился внизу. Взлетел фейерверк. Звучала музыка...

А спустя два месяца Федора Волкова похоронили. Похороны были богатые.

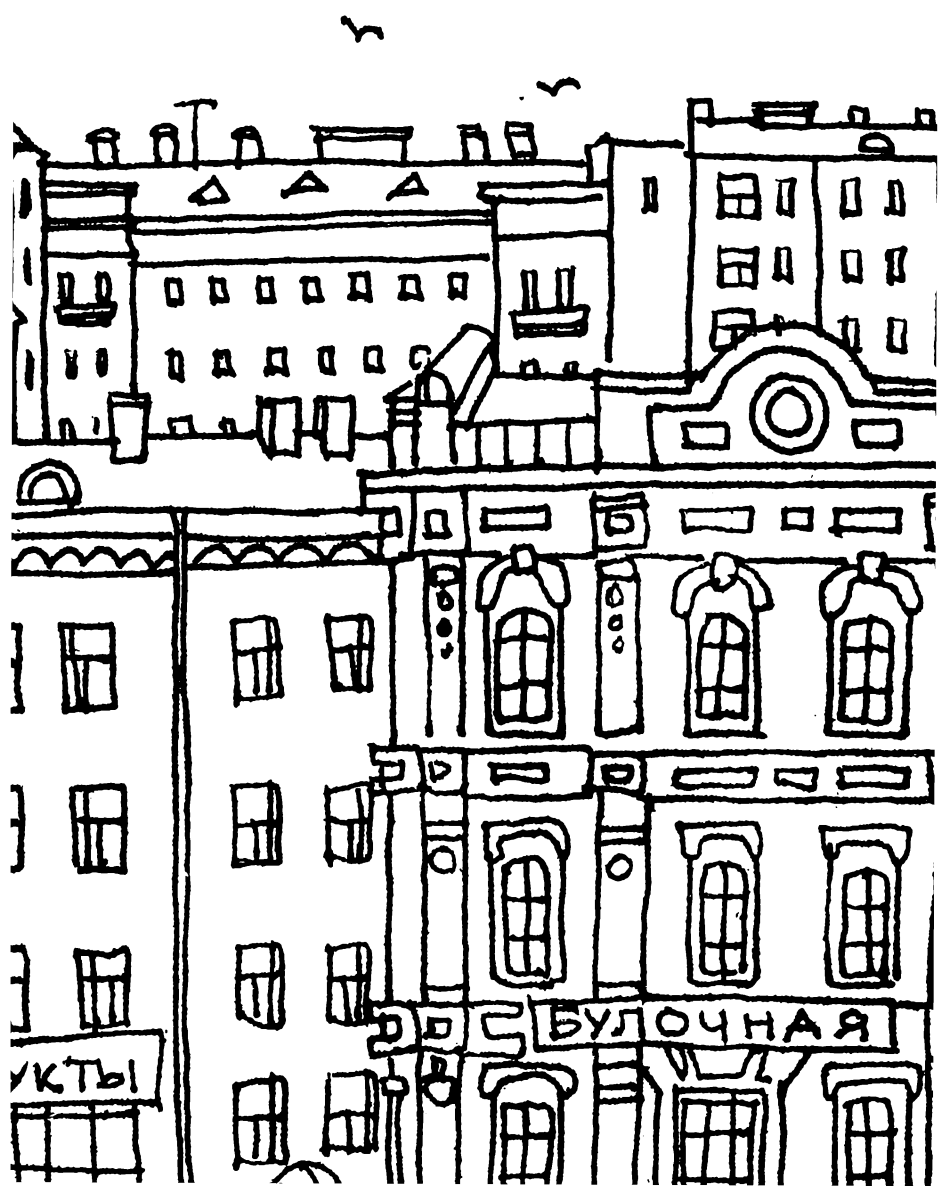
От авторов. Мы приводили отрывки из произведений XVIII века, стремясь сделать их язык доступным для понимания современного читателя без словаря.

\* \* \*

Добрый старый рыцарь мой  
в современной кепке,  
мне приелся, видит бог,  
хмель разлуки цепкий.

В честь Надежды и Любви,  
Радости и Веры  
капли Датского короля  
пейте, кавалеры!









## Веселый барабанщик

*Ю.Левитанскому*

Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше,  
когда дворники маячат у ворот.

Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик  
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,  
звон трамваев и людской водоворот,  
но прислушайся— услышишь, как веселый барабанщик  
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер, заговорщик и обманщик,  
темнота на мостовые упадет,  
но взглядишь—и ты увидишь, как веселый барабанщик  
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше.  
Сквозь сумятицу, и полночь, и туман...  
Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик  
вдоль по улице пронесит барабан?!

Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик  
вдоль по улице пронесит барабан.

1957

### Как случилось— не заметила сама...

Как случилось— не заметила сама,  
только двери потихоньку приоткрыла...  
Мама, мама, в нашем городе зима  
тишину на мостовые уронила!

Белый цвет у этой зимней тишины—  
полдень с нею и прозрачней, и яснее...  
Мама, мама, далеко тебе видны  
те дороги, на которых мы выросли!

## Песенка про море

Море существует для чего?  
Море существует для того,  
чтобы нам глядеть— не наглядеться  
на красоты вечные его.

Мальчики,  
мальчики и девочки,  
с крыльями и без,  
в трудный час,  
в трудный час решения,  
в главный час—  
выбирайте море  
среди всех чудес.  
И вы не пожалеете,  
уверяю вас.

Для чего же надобно ему  
Штормы нагонять на нас и тьму?  
Чтобы мы узнали хорошенько,  
Что почем, зачем и почему.

Нас увозят в море корабли,  
Чтоб от берегов своих вдали  
Нашу землю доброй и прекрасной  
Снова мы почувствовать могли.

## Старый причал

Чайка летит, ветер гудит,  
шторм надвигается.  
Кто-то и мне машет рукой  
и улыбается.  
Кто-то и мне прямо в глаза  
молча глядит.  
Словно забыть старый причал  
мне не велит.

День пролетел, месяц прошел,  
время растаяло.  
Значит, и мной на берегу  
что-то оставлено.  
Если опять берег мелькнет,  
сердце болит.  
Словно забыть старый причал  
мне не велит.

## Песенка о морях

Над синей улицей портовой  
всю ночь сияют маяки.  
Откинув ленточки фартово,  
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,  
и птицы крыльями шуршат.  
И припортовые царевны  
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься  
придут ребята, да не те.  
Ах, море — синяя водица,  
ах, голубая канитель.

Его затихнуть — не умолишь,  
взметнутся щепками суда.  
Земля надежнее, чем море,  
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит,  
ее попробуй упротить...  
Ах, если б вам служить на суше  
да только б ленточки носить!..

## Плывут дома, как корабли...

Плывут дома, как корабли, из дальних стран,  
Под паруса всех созывая...  
Ночь белая, сегодня я твой капитан,  
твой рулевой, твоя душа живая.

Бело вокруг — белы дома, бела река,  
все — от Фонтанки до предместий...  
Ночь белая, ты отложи дела пока,  
Давай пойдем побродим вместе.

Ни огонька, спят фонари — к чему они?  
Зачем их слабый свет дорогам?  
Ночь белая, остановись, повремени...  
Мне хорошо с тобой молчать о многом.

Как корабли, плывут они из дальних стран,  
спокойных дум не нарушая...  
Ночь белая, сегодня ты — мой океан...  
Мне по душе твоя душа большая.

## Пускай твердят иные остряки...

Пускай твердят иные остряки,  
что лезут зря из кожи чудаки.  
Покоя нет,  
готов хоть триста лет  
встречать рассвет...  
Полцарства за билет!

Маэстро Бах,  
когда б ты только знал,  
как тяжело попасть  
в концертный зал!..  
Тогда б ты дал, маэстро,  
мне совет,  
как раздобыть  
хоть б входной билет...

## Сентиментальный марш

*Е. Евтушенко*

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет,  
когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет.  
Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая,  
а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот.

Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь,  
Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла,  
ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет,  
чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,  
какое новое сражение ни покачнуло б шар земной,  
я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской,  
и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.

1957

## Из окон корочкой несет поджаристой...

*Е. Рейну*

Из окон корочкой несет поджаристой,  
за занавесками— мельканье рук.  
Здесь остановки нет, а мне— пожалуйста:  
шофер в автобусе— мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.  
Автобус новенький, спеши, спеши!  
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный  
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом  
пойдешь по улицам гулять с другим...  
Ах, Надя, брось коней своих нащелкивать,  
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке такой промасленной,  
берет немислимый такой на ней...

Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...  
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.  
Автобус новенький спешит-спешит.  
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный  
в любую сторону твоей души!

1958

## Не верю в бога и в судьбу...

Не верю в бога и в судьбу.  
Молось прекрасному и высшему  
предназначенью своему,  
на белый свет меня явившему...  
Чванливы черти, дьявол зол, бездарен бог—  
ему неможется...  
О, были б помыслы чисты!  
А остальное все приложится.

Все приложится, все уляжется.  
Жизнь— дорога, любовь—океан...  
Белый парус разлуки  
на мгновенье покажется  
И исчезнет вдали навсегда,  
Как туман.

Верчусь, как белка в колесе  
с надеждою своей за пазухою,  
ругаюсь, как мастеровой,  
то тороплюсь, а то запаздываю.  
Покуда дремлет бог войны —  
печет пирожное пирожница...  
О, были б небеса чисты!  
А остальное все приложится.

Молось, чтоб не было беды,  
и мельнице молось, и мыльнице,  
воде простой, когда она исчезнет, из золотого крана выльется  
молось, чтоб не было разлук,  
разрух,  
чтоб больше не тревожиться.  
О, руки были бы чисты!  
А остальное все приложится.

## Гори, огонь, гори

*Ю.Нагибину*

Неистов и упрям,  
гори, огонь, гори.  
На смену декабрям  
приходят январь.

Нам все дано сполна—  
и радости, и смех,  
одна на всех луна,  
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,  
а там пускай ведут  
за все твои дела  
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет,  
и даже век спустя  
семь бед—один ответ,  
один ответ—пустяк.

Неистов и упрям,  
гори, гори, гори.  
На смену декабрям  
приходят январь.

1946

## Песенка о присяге

Каких присяг я ни давал, какие ни твердил слова,  
но есть одна присяга— кружится голова.

Приду я к женщине своей— всю жизнь к ногам ее сложу,  
но о присяге этой ни слова не скажу.

Подстережет меня беда— не обойду свою беду,  
а вот присяги этой не выдам и в бреду.

И только где-нибудь потом случайно кто-нибудь в пути  
слова присяги этой найдет в моей груди.

## Ночной разговор

— Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.  
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.  
— Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,  
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.

— А где ж та река, та гора? Притомился мой конь.  
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?  
— На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,  
езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.

— А где же тот ясный огонь, почему не горит?  
Сто лет подпираю я небо ночное плечом...  
— Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик тот спит,  
фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем.

И снова он едет один без дороги во тьму.  
Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам!..  
— Ты что потерял, моя радость?— кричу я ему.  
А он отвечает:— Ах, если б я знал это сам!

1962

### Главная песенка

Наверное, самую лучшую  
на этой земной стороне  
хожу я и песенку слушаю —  
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая,  
она зелена, как трава,  
но чудится музыка светлая,  
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,  
сквозь смех наш короткий и плач  
я слышу: выводит мелодию  
какой-то грядущий трубач.



Легко, необычно и весело  
кружит над скрещеньем дорог  
та самая главная песенка,  
которую спеть я не смог.

1962

## Песенка о голубом шарике

Девочка плачет: шарик улетел.  
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.  
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.  
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...  
А шарик вернулся, а он голубой.

1957

## Дежурный по апрелю

*Ж.Болотовой*

Ах, какие удивительные ночи!  
Только мама моя в грусти и тревоге:  
“Что же ты гуляешь, мой сыночек,  
одинокий, одинокий?”

Из конца в конец апреля путь держу я.  
Стали звезды и крупнее и добрее.  
“Мама, мама, это я дежурю,  
я — дежурный по апрелю!”

“Мой сыночек, вспоминаю все, что было,  
стали грустными глаза твои, сыночек.  
Может быть, она тебя забыла,  
знать не хочет?”

Из конца в конец апреля путь держу я.  
Стали звезды и крупнее и добрее.  
“Что ты, мама, просто я дежурю,  
я — дежурный по апрелю.  
Мама, мама, это я дежурю,  
я — дежурный по апрелю”.

1960

## Старый пиджак

*Ж. Болотовой*

Я много лет пиджак ношу.  
Давно потерялся и не нов он.  
И я зову к себе портного  
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:  
“Перекройте все иначе.  
Сулит мне новые удачи  
искусство кройки и шитья”.

Я пошутил. А он пиджак  
серьезно так перешивает,  
а сам-то все переживает:  
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву  
в его усердье молчаливом,  
чтобы я выглядел счастливым  
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:  
лишь только я пиджак примерю—  
опять в твою любовь поверю...  
Как бы не так. Такой чудак.

1960

## Песенка об открытой двери

Когда метель кричит, как зверь—  
протяжно и сердито,  
не запирайте вашу дверь,  
пусть будет дверь открыта.

И если ляжет дальний путь,  
нелегкий путь, представьте,  
дверь не забудьте распахнуть,  
открытой дверь оставьте.

И, уходя в ночной тиши,  
без долгих слов решайте:  
огонь сосны с огнем души  
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена  
и мягкой—скамейка...  
Дверям закрытым— грош цена,  
замку цена— копейка!

*1961*

## Надежда, белою рукою...

Надежда, белою рукою  
сыграй мне что-нибудь такое,  
чтоб краска схлынула с лица,  
как будто кони от крыльца.

Сыграй мне что-нибудь такое,  
чтоб ни печали, ни покоя,  
ни нот, ни клавиш и ни рук...  
О том, что я несчастен,  
врут...

Еще нам плакать и смеяться,  
но не смиряться,  
не смиряться.



О, великая вечная армия,  
где не властны слова и рубли,  
где все рядовые—ведь маршалов нет у любви!  
Пусть поход никогда ваш не кончится,  
признаю только эти войска!..  
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.  
Часовые любви на Неглинной не спят.  
Часовые любви по Арбату идут  
неизменно.  
Часовым полагается смена.

1958

## Живописцы

*Ю.Васильеву*

Живописцы, окуните ваши кисти  
в суету дворов арбатских и в зарю,  
чтобы были ваши кисти словно листья,  
словно листья, словно листья к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое,  
по традиции забытой городской,  
нарисуйте и прилежно и с любовью,  
как с любовью мы проходим по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется!  
Пусть начнется, что еще не началось.  
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...  
Что гадать нам:удалось — не удалось?

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,  
наше лето, нашу зиму и весну...  
Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте!  
Я потом, что непонятно, объясню.

1959

## Цирк

*Ю. Никулину*

Цирк— не парк, куда вы входите  
грустить и отдыхать.  
В цирке надо не высиживать,  
а падать и взлетать,  
и, под куполом,  
под куполом,  
под куполом скользя,  
ни о чем таком сомнительном  
раздумывать нельзя.

Все костюмы наши праздничные —  
смех и суета.  
Все улыбки наши пряничные  
не стоят ни черта  
перед красными султанами  
на конских головах,  
перед лицами,  
таящими надежду, а не страх.

О Надежда,  
ты крылатое такое существо!  
Как прекрасно  
твое древнее святое вещество:  
даже если вдруг потеряна  
(как будто не была),  
как прекрасно ты распаиваешь  
два своих крыла  
над манежем  
и над ярмаркою праздничных одежд,  
над тревогой завсегдатаев,  
над ужасом невежд,  
похороненная заживо,  
являешься опять  
тем,  
кто жаждет не высиживать,  
а падать и взлетать.

1965

## Антон Палыч Чехов однажды заметил...

Антон Палыч Чехов однажды заметил,  
что умный любит учиться, а дурак учить.  
Сколько дураков в своей жизни я встретил,  
мне давно пора уже орден получить.

Дураки обожают собираться в стаю,  
впереди главный — во всей красе.  
В детстве я верил, что однажды встану,  
а дураков нету — улетели все!

Ах, детские сны мои, какая ошибка,  
в каких облаках я по глупости витал!  
У природы на устах коварная улыбка,  
видимо, чего-то я не рассчитал.

А умный в одиночестве гуляет кругами,  
он ценит одиночество превыше всего.  
И его так просто взять голыми руками,  
скоро их повыловят всех до одного.

Когда ж их всех повыловят, настанет эпоха,  
которую не выдумать и не описать.  
С умным — хлопотно, с дураком — плохо.  
Нужно что-то среднее, да где ж его взять?

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.  
Умным очень хочется, да кончится битьем...  
У природы на устах коварные пророчества.  
Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем?

## Пиратская лирическая

*Л. Филатову*

В ночь перед бурей на мачтах горят святого Эльма свечи,  
отогревают наши души за все минувшие года.  
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки,  
как овечки.  
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет  
нас черный парус,  
пусть будет крепок ром ямайский, все остальное — ерунда.  
Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь.  
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец  
помрет со страху  
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.  
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь— я сам взбегу  
на плаху.  
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.

Что же, если в Портленд нет возврата, поделим золото,  
как братья,  
поскольку денюжки чужие не достаются без труда.  
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина  
в объятья,  
да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда.

## Стать богатеем иной норовит...

Стать богатеем иной норовит—  
золото копит, ночами не спит.  
Не все то золото, не все то золото,  
хоть и сверкает оно и звенит.

Можно театр позолотой покрыть,  
можно коврами весь пол устелить.  
Но вдохновение на представление  
разве возможно за деньги купить?!

Можно построить из вымысла дом,  
даже устроить праздники в нем.  
Но не построишь и не устроишь  
счастье твое на несчастье чужом.

Вилами глупо писать на воде.  
Друг дорогой познается в беде.  
И примечательно, то замечательно,  
что без любви нету жизни нигде.



Чистое сердце в дорогу готовь,  
древняя мудрость сгодится и вновь.  
Не покупаются, не покупаются —  
доброе имя, талант и любовь.

## Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину

*А. Цыбулевскому*

На фоне Пушкина снимается семейство.  
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.  
Фотограф щелкает. Но вот что интересно:  
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Все счета кончены, и кончены все споры.  
Тверская улица течет, куда, не знает.  
Какие женщины на нас кидают взоры  
и улыбаются... И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.  
Как обаятельны (для тех, кто понимает)  
все наши глупости и мелкие злодеяства  
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).  
Пусть жизнь короткая пронесится и тает.  
На веки вечные мы все теперь в обнимку  
на фоне Пушкина! И птичка вылетает...

1970

## Былое нельзя воротить

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем:  
у каждой эпохи свои подрастают леса.  
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем  
поужинать в “Яр”заскочить хоть на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью:  
машины нас ждут и ракеты уносят нас вдаль.  
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,  
хотя б одного, и не будет огныне... А жаль.

Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,  
разумный свой век, многопытный век свой любя.  
А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему,  
и мы до сих пор все холопами числим себя.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,  
мы все обрели— и надежную пристань, и свет...  
А все-таки жаль — иногда над победами нашими  
встают пьедесталы, которые выше побед.

Москва, ты не веришь слезам—это время проверило,  
железное мужество, твердость и сила во всем.  
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,  
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.

Былое нельзя воротить...Выхожу я на улицу  
и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот  
извозчик стоит, Александр Сергееч прогуливается...  
Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!

1964

## Две дороги

Не сольются никогда зима долгая и лето.  
У них разные привычки и совсем несхожий вид.  
Не случайны на земле две дороги: та и эта.  
Та—натруживает ноги, эта— душу бередит.

Эта женщина в окне в платье розового цвета  
Утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез.  
Потому что перед ней две дороги: та и эта.  
Та—прекрасна, но напрасна, эта — видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри, не найти верней ответа,  
И куда бы наши страсти нас с тобой не завели,



## Грузинская песня

*М.Келивдзе*

Виноградную косточку в теплую землю зарюю,  
и лозу поцелую, и спелые грозди сорву,  
и друзей созову,  
на любовь свое сердце настрою...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,  
говорите мне прямо в лицо,  
кем пред вами слыву,  
царь небесный пошлет мне прощение  
за прегрешенья...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем  
будет петь для меня моя Дали,  
в черно-белом своем  
преклоню перед нею главу,  
и заслушаюсь я,  
и умру от любви и печали...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат,  
по углам залетая,  
пусть опять и опять предо мною плывут наяву  
синий буйвол,  
и белый орел,  
и форель золотая...  
А иначе зачем  
на земле этой вечной живу?

1967

## Пожелание друзьям

*Ю.Трифонову*

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.  
Высокопарных слов не стоит опасаться.  
Давайте говорить друг другу комплименты—  
Ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно,  
то вместе, то поврозь, а то попеременно.  
Не нужно придавать значения злословью—  
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,  
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.  
Давайте жить, во всем друг другу потакая,  
тем более что жизнь короткая такая.

1975

## Союз друзей

*Ф.Светову*

Поднявший меч на наш союз  
достоин будет худшей кары.  
И я за жизнь его тогда  
не дам и ломаной гитары.  
Как вожделенно жаждет век  
нащупать брешь у нас в цепочке.  
Возьмемся за руки, друзья,  
возьмемся за руки, друзья,  
чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров  
и слишком ненадежных истин,  
не дожидаясь похвалы,  
мы перья белые почистим.  
Пока безумный наш султан  
сулит дорогу нам к острогу,  
возьмемся за руки, друзья,  
возьмемся за руки, друзья,  
возьмемся за руки, ей-богу.

Когда придет дележки час,  
не нас калач ржаной поманит,  
и рай настанет не для нас,  
зато Офелия помянет.  
Пока не грянула пора

нам отправляться понемногу,  
возьмемся за руки, друзья,  
возьмемся за руки, друзья,  
возьмемся за руки, ей-богу.

1967

## Прощание с новогодней елкой

*З. Крахмальниковой*

Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых.  
Где-то по комнатам ветер прошел: там поздравляли  
влюбленных.

Где-то он старые струны задел—тянется их  
перекличка...

Вот и январь накатил-налетел, бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили.  
Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг  
спешили.

Даже поверилось где-то на миг (знать, в простодушие  
сердечном):  
женщины той очарованный лик слит с твоим празднеством  
вечным.

В миг расставанья, в час платежа, в день увяданья недели  
чем это стала ты нехороша? Что они все одурели?!

И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры,  
что же надежные руки свои прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время унять, нет бы им всем  
расстараться.

Но начинают колеса стучать: как тяжело расставаться!

Но начинается вновь суета. Время по-своему судит.

И, как Христа, тебя сняли с креста, и воскресенья не будет.

Ель моя, Ель — уходящий олень, зря ты, наверно, старалась:

Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась!

Ель моя, Ель, словно Спас-на-Крови, твой силуэт  
отдаленный,  
будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей,  
неутоленной.

1966

## Я вновь повстречался с Надеждой...

О. Чухонцеву

Я вновь повстречался с Надеждой —  
приятная встреча.

Она проживает все там же —  
то я был далече.

Все то же на ней из поплина  
счастливое платье,  
все так же горящ ее взор,  
устремленный в века...

Ты наша сестра,  
мы твои торопливые братья,  
и трудно поверить,  
что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала  
чертоги златые?

Мы сами себе их рисуем,  
пока молодые,  
мы сами себе сочиняем  
и песни и судьбы,

и горе тому, кто одернет  
не вовремя нас...

Ты наша сестра,  
мы твои торопливые судьи,  
нам выпало счастье,  
да скрылось из глаз.

Когда бы любовь и надежду  
связать воедино,  
какая бы (трудно поверить)  
возникла картина!

Какие бы нас миновали  
напрасные муки,  
и только прекрасные муки  
глядели б с чела...

Ты наша сестра.  
Что ж так долго мы были в разлуке?  
Нас юность сводила,  
да старость свела.

1976

## Стихотворения, посвященные кинематографистам

### По Смоленской дороге

*Ж. Болотовой*

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.  
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.  
Над Смоленской дорожкой, как твои глаза, —  
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,  
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.  
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —  
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.  
По Смоленской дороге — столбы гудят, гудят.  
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,  
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

\* \* \*

*М. Хуцеву*

Мы приедем туда, приедем,  
проедем — зови не зови —  
вот по этим каменистым,  
по этим  
осыпающимся дорогам любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,  
по августу, плавают в нем,  
и пахнет песнями и фасолью,  
красной солью и красным вином.



Перед чинарою голубою  
поет Тинатин в окне,  
и моя юность с моей любовью  
перемешивается во мне.

Худосочные дети с Арбата,  
вот мы едем, представь себе,  
а арба под нами горбата,  
и трава у вола на губе.

Мимо нас мелькают автобусы,  
перегаром в лица дыша...  
Мы наездили, мы не торопимся,  
мы хотим хоть раз не спеша.

После стольких лет перед бездною,  
раскачавшись, как на волнах,  
вдруг предстанет, как неизбежное,  
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,  
будет длиться через мир и войну  
путешествие наше самое главное  
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,  
дней последних не торопя,  
мы откроем нашу родину снова,  
но уже для самих себя.

## О Володе Высоцком

*Марине Владимировне Поляковой*

О Володе Высоцком я песню придумать решил:  
вот еще одному не вернуться домой из похода.  
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...  
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом  
отправляться и нам по следам по его по горячим.



\* \* \*

*А. Володину*

Что-то знает Шура Лифшиц:  
понапрасну слез не льет.  
В петербургский смог зарывшись,  
зерна истины клюет.

Так устроившись удобно  
среди каменных громад,  
впитывает он подробно  
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно  
в почвы лета и зимы,  
потому что знает точно  
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.  
Расслабляться не пора...  
Слышно, времечко стекает  
с кончика его пера.

\* \* \*

*М. Козакову*

Приносит письма письмоносец  
о том, что Пушкин — рогоносец.  
Случилось это в девятнадцатом столетье.  
Да, в девятнадцатом столетье  
влетели в окна письма эти,  
и наши предки в них купались, словно дети.

Еще далече до дуэли.  
В догадках ближние дурели.  
Все созревало, как нарыв на теле... Словом,  
еще последний час не пробил,  
но скорбным был арапский профиль,  
как будто создан был художником Лунёвым.

Я знаю предков по картинкам,  
но их пристрастие к поединкам —  
не просто жажда поучиться и отличиться,  
но в кажущейся жажде мести  
преобладало чувство чести,  
чему с пеленок пофартило им учиться.

Загадочным то время было:  
в понятие чести что входило?  
Убить соперника и распрямиться сладко?  
Но если дуло грудь искало,  
ведь не убийство их ласкало...  
И это все для нас еще одна загадка.

И прежде чем решать вопросы  
про сплетни, козни и доносы  
и расковыривать причины тайной мести,  
давайте-ка отложим это  
и углубимся в дух поэта,  
поразмышляем о достоинстве и чести.

## Нянька

*Вл. Заманскому*

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,  
в закуточке у кузни сидела, чаек попивая,  
выпевая молитвы без слов золотым голоском,  
словно жаворонок  
над зеленым еще колоском.

Акулина Ивановна, около храма Спасителя  
ты меня наставляла, на тоненьких ножках просителя,  
а потом я и душу сжигал, и дороги месил...  
Не на то, знать, надеялся и не о том, знать, просил.

По долинам, по взгорьям толпою текло человечество.  
Слева — поле и лес, справа — слезы, любовь и  
отечество,  
посередке лежали холодные руки судьбы,  
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.

Ах, наверно, не зря распалялся небесною властью  
твой российский костер над моею грузинскою страстью,  
узловатые руки сплетались теплей и добрей,  
как молитва твоя над армянскою скорбью моей.

Акулина Ивановна, все мне из бед наших помнится.  
Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится,  
оттого-то и сердце мое перебои дает,  
и не только когда соловей за окошком поет.

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,  
все, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще, дорогая,  
все, что мы натворили, и все, что еще сотворим, —  
словно утренний дым над тамбовским надгробьем твоим.

В настоящем сборнике впервые предпринята попытка представить кинематографическое творчество Булата Окуджавы.

Начиная с середины 1960 годов одновременно с написанием первых романов, Окуджава выступает и как оригинальный кинодраматург. Фильмы по его сценариям — “Верность” и “Женя, Женечка и “катушка” — получают широкий резонанс как в стране, так и за рубежом. Однако до сего времени лишь два сценария автора были опубликованы. Данный сборник включает в себя все три киносценария Окуджавы, в том числе “Мы любили Мельпомену...”, фильм по которому поставлен не был.

Но участником отечественного кинематографического процесса Окуджава волею судеб оказывается задолго до того, как становится профессиональным драматургом. Явление авторской песни Окуджавы, завоевавшее повсеместное признание и стремительно распространившееся уже с 1960-х годов в культурном социуме, не могло не затронуть и советское кино, достаточно коснувшись по тому времени структуру, во многом сохранявшую свое официозное предназначение.

Лишенные привычного пафоса и эстрадных литавр, песни Окуджавы под гитарный перебор завораживали слушателей неординарностью текстов, их бесспорными поэтическими достоинствами, негромкой доверительностью авторского исполнения.

Уже тогда было явственно ощутимо, что песенная поэзия Окуджавы являет собой целостную систему иных художественных ценностей, диссонировавших с канонами оставшегося парадным искусства того времени. Лирический герой песен Окуджавы воплощал собою нравственно-художественное начало, по которому исключительно человек, а не отвлеченные постулаты, был мерою всех вещей. Человек рядовой и на фронте и в мирной жизни, не герой, но современник, близкий слушателю.

Таким образом определилось поле высокого напряжения между поэзией Окуджавы, его песенным творчеством и первыми слушателями, ценителями его поэзии.

Уловив эту незримую связь, кинематографисты еще тридцать лет назад начали включать в свои фильмы песни Окуджавы по принципу “узнаваемости” уже знакомых слушателям текстов и авторских мелодий к ним. Зачастую (в том числе и в наши дни) спустя много лет после создания самих песен.

Но общепринятый строй фильмов, сориентированный в те годы, за редкими исключениями, на исторический пафос или героикку свершений, не сопрягался с музыкально-поэтической гармонией этих песен. Их пытались изъять из фильмов или сократить, заредактировать или перетонировать, озвучить другими исполнителями. Симфонический оркестр кинематографии и камерный перебор окуджавских струн плохо меж собой ладили.

Весьма условно эти песни соседствовали с обиходными киносюжетами тех лет. Так, фильм “Цепная реакция”, повествовавший о “перековке” закоренелого преступника, который оказался в Москве в дни фестиваля молодежи и студентов, ныне интересен лишь исключительно первым появлением на экране Булата Окуджавы с гитарой. “Полночный троллейбус”, звучавший с экрана в авторском исполнении, никак не внедрялся в обычную для того времени фальшиво назидательную драматургию фильма.

И, напротив, когда в те же годы Марлен Хуциев снимал свою “Заставу Ильича” с ее обостренным личностным началом, шпаликовская драматургия, естественно вбиравшая в себя разнородные эпизоды, абсолютно естественно включала в себя поэтический вечер в Политехническом музее, который без

участия Окуджавы в те годы был бы неполным. О чем — в иной художественной тональности — будет сказано в документальной ленте Владислава Виноградова “Мои современники” двадцать лет спустя.

За годы кинематографической работы определились единомышленники поэтического лада Окуджавы — режиссеры Марлен Хуциев, Петр Тодоровский, Владислав Мотыль, Андрей Смирнов, Динара Асанова. Некоторые из них стали соавторами поэта по совместно написанным сценариям. Другие включали в художественный строй своих фильмов песни Окуджавы, которые стали получать — в том числе и благодаря кино — официальное признание не только литературных или музыкальных, но и идеологических кругов.

Но важно все же иное. За многие истекшие годы песни Окуджавы звучали в нескольких десятках разнообразных фильмов режиссеров разной ориентации — людей различных поколений, вкусов, пристрастий. Но как бы ни оценивались эти фильмы сегодня — среди них есть как бесспорные удачи, так и ленты, справедливо забытые, — песни Окуджавы и по сей день остаются в них на правах своего рода камертона. В шестидесятые годы они были синонимами художественного вкуса. В следующее десятилетие стали уже мерой этического, нравственного порядка.

Составитель вынужден был отказаться от хронологического принципа расположения материала, поскольку значительный ряд песен не поддается авторской датировке. В основу сборника положен тематический принцип, позволивший расположить не только сценарии, но поэтические тексты по трем условным разделам: война, история, современность.

Ссылки на печатные источники текстов не приводятся, в примечаниях оговариваются лишь отдельные случаи первых публикаций. В настоящих примечаниях, помимо указаний фильмов, которые включили в себя данные песни, указываются авторы музыки, если она не принадлежит Окуджаве.

Тексты публикуемых песен и их названия представлены в сборнике в своих устоявшихся, канонических вариантах независимо от того, насколько полно они были представлены в фильме.

Для данного издания все тексты авторизованы, в некоторые из них, как правило, не входившие в авторские сборники и прежде не публиковавшиеся, внесена автором правка уточняющего характера.

### КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ

В качестве своеобразного поэтического рефрена (определившего собой и композицию данного сборника) использована в фильме “Женя, Женечка и “катюша” (1967), режиссер Владимир Мотыль. Бравурно-мажорное, но не без иронии, начало песни звучит на титрах фильма в исполнении юного актера Саши Кавалерова, а в продолжение сюжета, в минорном ладу — в авторском исполнении.

### ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Использована (с вымарками цензурного характера) в фильме “Горизонт” (1962), режиссер Иосиф Хейфиц; а также — полностью — в картине “Не самый удачный день” (1966), режиссер — Юрий Егоров, в качестве фрагмента спектакля “Зримая песня” Ленинградского театра Ленинского комсомола.

### ПЕСНЯ О МОСКОВСКИХ ОПОЛЧЕНЦАХ

Из документальной эпопеи “Великая Отечественная” (1979), фильм П-й — “Битва за Москву”, режиссер Илья Гутман.

### ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ

Использована в фильме “Июльский дождь” (1967), режиссер Марлен Хуциев.

### **“ШЛА ВОЙНА К ТОМУ БЕРЛИНУ”**

Использована в телефильме “Человек на полустанке” (1983), режиссер Василий Панин.

### **МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ**

Написана к фильму “Белорусский вокзал” (1971), режиссер Андрей Смирнов. Являясь по сюжету фильма маршевой песней однополчан “отдельного десятого десантного батальона”, она — редкий случай — не связана с лирическим героем песенной поэзии Окуджавы, но намеренно стилизована под фронтовой фольклор военной поры.

### **“АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ”**

Из фильма “Аты-баты, шли солдаты...” (1976), режиссер Леонид Быков. В фильме использована фрагментарно. Печ. по единственной авторской фонограмме.

### **“ЗАТИХНЕТ ШРАПНЕЛЬ...”**

Из фильма “Дела давно минувших дней” (1973), режиссер Владимир Шредель. Печ. по монтажному листу к фильму.

### **“БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ...”**

Из фильма “От зари до зари” (1975), режиссер Гавриил Егиазаров, музыка Валентина Левашова.

### **А ГОДЫ УХОДЯТ, УХОДЯТ...**

Из фильма “Расскажи мне о себе” (1972), режиссер Сергей Микаэлян, музыка Исаака Шварца.

### **“БЛИНДАЖИ ТОЙ ВОЙНЫ ВСЕ ТРАВой ЗАРОСЛИ...”**

Из фильма “Вторая весна” (1980), режиссер Владимир Венгеров, музыка Исаака Шварца.

### **ПРОЩАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ**

Использована в фильме “Белая тень” (1979), режиссеры Евгений Хринюк и Ольга Лысенко.

### **СЧАСТЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ**

Из фильма “Законный брак” (1985), режиссер Альберт Мкртчян, музыка Исаака Шварца. Песня звучит в исполнении автора, сыгравшего в фильме эпизодическую роль.

### **КИНОПОВЕСТЬ “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”**

По свидетельству редактора “Ленфильма” Якова Нисоновича Рохлина, в середине 1960-х годов режиссер Владимир Мотыль намеревался снять необычную для тех лет комедию — на материале Отечественной войны, ориентируясь на автобиографическую повесть Окуджавы “Будь здоров, школяр” (1960-1961), незадолго до того опубликованную в сборнике “Тарусские страницы” (Калуга, Калужское книжное издательство, 1961). Как рассказывал составителю тот же Я.Н.Рохлин, бывший в те годы главным редактором Третьего творческого объединения “Ленфильма”, инициатива знакомства автора и режиссера отвечала интересам объединения, которое уже в марте 1965 года заключает с ними как с соавторами договор на литературный сценарий будущего фильма. По замыслу авторов, их комедия, получившая название “Женя, Женечка и “Катюша”, не должна была стать в строгом смысле слова экранизацией повести “Будь здоров, школяр”, хотя литературный первоисточник являлся своеобразной точкой отсчета. На разных этапах работы над сценарием лирическая эскизность повести



словно “объективизировалась”, ее безымянный лирический герой—alter ego автора— уже выступал под именем Жени Кольшкина. Дорабатывая сценарий даже во время съемок, авторы вносили в него большую жанровую определенность. Так, из лирического дневника арбатского мальчика-школяра повествование озорно перетекало в комедиюно-авантюрный сюжет с тем, чтобы стать уже в фильме своего рода военным романом воспитания. Своеобразным камертоном воспитания чувств героя, возмужавшего на войне, звучали “Капли Датского короля” в авторском исполнении, словно с дистанции прожитых лет. Текст сценария печатается по изданию в серии “Библиотека кинодраматургии” (М., “Искусство”, 1968).

#### **“ВЕРНОСТЬ”. Киносценарий.**

Киносценарий “Верность”, первоначально называвшийся “Пусть всегда будет солнце”, был написан Окуджавой в соавторстве с режиссером Петром Тодоровским и снят последним на Одесской киностудии в 1965 году.

Если “Женю, Женечку и “катушу” отличала прежде всего трансформация лирического героя поэзии и первой прозы Окуджавы, то личностное начало “Верности” намеренно авторами приглушено, приближено едва ли не к документальному началу. Но именно эта стилистика, продиктованная буднями курсантов военного училища времен войны, во многом отличавшая сдержанность военных песен Окуджавы, позволила справедливо оценить фильм уже по выходе его на экран как портрет молодого поколения военных призывников, к которому принадлежит и авторы фильма.

Текст сценария печатается по экземпляру, хранящемуся в архиве Госфильмофонда СССР.

#### **“ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ГОСПОЖА РАЗЛУКА”**

Из фильма “Белое солнце пустыни” (1970), режиссер Владимир Мотыль.

#### **“КРАСОТКИ ТОМНЫЙ ВЗОР...”**

Из телефильма “Станционный смотритель” (1972), режиссер Сергей Соловьев, музыка Исаака Шварца.

#### **РОМАНС О ЛЮБВИ**

Из телефильма “Соломенная шляпка” (1975), режиссер Леонид Квинихидзе, музыка Исаака Шварца.

#### **ПЕСЕНКА МУШКЕТЕРОВ**

Из телефильма “Соломенная шляпка”. Музыка Исаака Шварца.

#### **ПЕСЕНКА О СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПКЕ**

Из телефильма “Соломенная шляпка”. Музыка Исаака Шварца.

#### **“ЛАКЕЙ КРУЖИТСЯ...”**

Из телефильма “Соломенная шляпка”. Музыка Исаака Шварца.

#### **ПЕСЕНКА ЧЕЛОВЕКА, РЕШИВШЕГО ЖЕНИТЬСЯ**

Из телефильма “Соломенная шляпка”, музыка Исаака Шварца.

#### **ПЕСЕНКА ОБ УТРАЧЕННЫХ НАДЕЖДАХ**

Из телефильма “Соломенная шляпка”, музыка Исаака Шварца.

#### **РОМАНС КНИГИНОЙ**

Из телефильма “Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад” (1984), режиссер Владимир Мотыль, музыка Исаака Шварца.

#### **“ТАМ, ЗА СЕДЬМОЙ ГОРОЮ...”**

Использована в фильме “Вкус хлеба” (1979), режиссер Алексей Сахаров.

#### **“ЕСТЬ МУКИ У ОГНЯ...”**

Из фильма “Оставить след” (1982), режиссер Герман Лавров.

#### **“К ЧЕМУ НАМ БЫТЬ НА “ТЫ”, К ЧЕМУ?..”**

Использована в фильме “Исполняющий обязанности” (1974), режиссер Ирина Поволоцкая.

#### **“В НАШЕМ СТАРОМ САДУ...”**

Из фильма “Последняя жертва” (1976), режиссер Петр Тодоровский, музыка Исаака Шварца.

#### **ПРОВОДЫ ЮНКЕРОВ**

Использована в фильме “На ясный огонь” (1976), режиссер Виталий Кольцов.

#### **ПЕСЕНКА КАВАЛЕРГАРДА**

Из фильма “Звезда пленительного счастья” (1975), режиссер Владимир Мотыль, музыка Исаака Шварца.

#### **“СОЛНЬШКО СИЯЕТ, МУЗЫКА ИГРАЕТ...”**

Из фильма “Тайны мадам Вонг” (1986), режиссер Степан Пучинян.

#### **СТАРИННАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ**

Использована в фильме “Грибной дождь” (1982), режиссер Николай Кошелев.

#### **ПЕСЕНКА О ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ**

Использована в фильме “Поздние свидания” (1980), режиссер Владимир Григорьев.

#### **“ВОТ КАКАЯ-ТО ЛОШАДКА...”**

Из телефильма “Капитан Фракасс” (1985), режиссер Владимир Соловьев.

#### **ДОЖДИК ОСЕННИЙ**

Из телефильма “Капитан Фракасс”.

#### **ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ**

Из фильма “Нас венчали не в церкви” (1982), режиссер Борис Токарев, музыка Исаака Шварца.

#### **“МЫ ЛЮБИЛИ МЕЛЬПОМЕНУ...”** Вариант легенды

Заказанный Киностудией детских и юношеских фильмов им. М.Горького к 250-летию юбилею со дня рождения великого русского актера Федора Волкова, сценарий был написан в 1978г. в соавторстве с Ольгой Арцимович. К тому времени Окуджава был автором уже трех исторических романов на материале XIX века и задумывал четвертый, захватывавший XVIII столетие. Именно на 70-е годы нашего времени падает обостренный интерес к отечественной истории, поддерживаемый романами Б.Окуджавы, исследованиями Н.Эйдельмана, научными трудами Ю.Лотмана. Лирика Окуджавы, как и его проза этого времени, во многом ориентирована на историческую перспективу, но вместе с тем ничуть не утрачивает своей связи с современностью. Пожалуй, впервые в новое время широкая читающая публика ощутила истории связующую нить как сопряженную с событиями современности.

Фильм по сценарию “Мы любили Мельпомену...” поставлен не был. Текст печатается по публикации в журнале “Театр” (1978, N12).

### **“ДОБРЫЙ СТАРЫЙ РЫЦАРЬ МОЙ...”**

Вариант текста “Капель Датского короля”, не вошедший в окончательный канонический текст. Печатается по режиссерскому сценарию “Женя, Женечка и “катюша”.

### **ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС**

Использована в фильме “Цепная реакция” (1963), режиссер Иван Правов.

### **ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК**

Использована в фильме “Друг мой, Колька!” (1961), режиссеры Алексей Салтыков, Александр Митта.

### **“КАК СЛУЧИЛОСЬ, НЕ ЗАМЕТИЛА САМА...”**

Из фильма “Трое суток после бессмертия” (1963), режиссер Владимир Довгань.

### **ПЕСЕНКА ПРО МОРЕ**

Из телефильма “Капитан” (1973), режиссер Аян Шахмалиева, музыка Исаака Шварца.

### **СТАРЫЙ ПРИЧАЛ**

Из фильма “Цепная реакция”. Музыка Виталия Гевиксмана.

### **ПЕСЕНКА О МОРЯКАХ**

Из фильма “Шурка выбирает море” (1963), режиссер Я.Хромченко.

### **“ПЫЛЮТ ДОМА, КАК КОРАБЛИ...”**

Из фильма “Возвращенная музыка” (1964), режиссер Виталий Аксенов, музыка В.Чистякова.

### **“ПУСКАЙ ТВЕРДЯТ ИНЫЕ ОСТРЯКИ...”**

Из фильма “Возвращенная музыка”. Музыка В.Чистякова.

### **СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ**

Использована в фильме “Застава Ильича” (1963), режиссер Марлен Хуциев. Звучит в авторском исполнении в сцене вечера поэтов в Политехническом музее.

### **“ИЗ ОКОН КОРОЧКОЙ НЕСЕТ ПОДЖАРИСТОЙ...”**

Использована в фильме “Короткие встречи” (1967), режиссер Кира Муратова.

### **“НЕ ВЕРЮ В БОГА И В СУДЬБУ...”**

С изменениями текстуального характера использована в фильме “Жизнь и смерть Фердинанда Люса” (1977), режиссер Анатолий Бобровский. Музыка Исаака Шварца.

### **ГОРИ, ОГОНЬ, ГОРИ (“НЕИСТОВ И УПРЯМ”...)**

Использована в фильме “На ясный огонь”. (1976), режиссер Виталий Кольцов.

### **ПЕСЕНКА О ПРИСЯГЕ**

Использована в фильме “На ясный огонь”.

### **НОЧНОЙ РАЗГОВОР**

Использована в фильме “На ясный огонь”.

### **ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА**

Использована в фильме “На ясный огонь”.

#### **ПЕСЕНКА О ГОЛУБОМ ШАРИКЕ**

Использована в телефильме “Фотографии на стене” (1977), режиссер Анатолий Васильев.

#### **ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ**

Использована в телефильме “Фотографии на стене”.

#### **СТАРЫЙ ПИДЖАК**

Использована в телефильме “Фотографии на стене”.

#### **ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ**

Использована в телефильме “Фотографии на стене”.

#### **“НАДЕЖДА, БЕЛОЮ РУКОЮ...”**

Использована в телефильме “Фотографии на стене”.

#### **ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ**

Использована в телефильме “Покровские ворота” (1982), режиссер Михаил Козаков.

#### **ЧАСОВЫЕ ЛЮБВИ**

Использована в телефильме “Покровские ворота”.

#### **ЖИВОПИСЦЫ**

Использована в телефильме “Покровские ворота”.

#### **ЦИРК**

Использована в телефильме “Эквилибрист” (1976), режиссер Леонид Нечаев, музыка Алексея Рыбникова.

#### **“АНТОН ПАЛЫЧ ЧЕХОВ ОДНАЖДЫ ЗАМЕТИЛ...”**

Из фильма “Из жизни начальника уголовного розыска” (1983), режиссер Степан Пучинян.

#### **ПИРАТСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ**

Из фильма “Из жизни начальника уголовного розыска”.

#### **“СТАТЬ БОГАТЕЕМ ИНОЙ НОРОВИТ...”**

Из фильма “Милый, дорогой, любимый, единственный” (1984), режиссер Динара Асанова

#### **ПРИЕЗЖАЯ СЕМЬЯ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ**

Использована в фильме “Храни меня, мой талисман” (1986), режиссер Роман Балаян.

#### **“БЫЛОЕ НЕЛЬЗЯ ВОРОТИТЬ...”**

Использована в фильме “Храни меня, мой талисман”.

#### **ДВЕ ДОРОГИ**

Из фильма “Законный брак”. Музыка Исаака Шварца.

#### **МОЛИТВА**

Использована в фильме “Свободное падение” (1987), режиссер Михаил Туманишвили.

#### **ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ**

Использована в фильме “Плата за проезд” (1986), режиссер Вячеслав Сорокин.

### **ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ**

Из фильма “Ключ без права передачи” (1977), режиссер Динара Асанова.

### **СОЮЗ ДРУЗЕЙ**

Использована в телефильме “Мои современники” (1984), режиссер Владислав Виноградов, и в фильме “Непрофессионалы” (1987), режиссер Сергей Бодров.

### **ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ**

Использована в фильме “Почти ровесники” (1984), режиссер Татьяна Пименова.

### **“Я ВНОВЬ ПОВСТРЕЧАЛСЯ С НАДЕЖДОЙ...”**

Из фильма “Беда” (1977), режиссер Динара Асанова.

### **СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КИНЕМАТОГРАФИСТАМ**

Стихотворения, вошедшие в этот раздел, печатаются по книге: Окуджава Б.Ш. Избранное: Стихотворения. — М.: Московский рабочий. 1989.

**“ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”**

Киностудия “Ленфильм”, 1967 г.

Авторы сценария — Б. Окуджава, В. Мотыль

Режиссер-постановщик — В. Мотыль

Оператор — К. Рыжов, звукооператор — Г. Нестеров

Режиссеры — П. Тискин, В. Степанов

Композитор — И. Шварц

Художник — В. Волин

Рисунки к фильму — Н. Васильевой

Военный консультант —  
генерал-майор артиллерии М. Глушков

Текст песни “Капли Датского короля” Булата Окуджавы

Роли исполняют:

Женя Кольшкин — О. Даль

Женечка Земляникина — Г. Фигловская

Захар Косых — М. Кокшенов

Алексей Зырянов — П. Морозенко

Ромадин — Г. Штиль

Зигфрид — Б. Шнейдер

Караваев — М. Бернес

Майор — А. Ильин.

## **“ВЕРНОСТЬ”**

Одесская киностудия, 1965 г.

Авторы сценария — Б. Окуджава, П. Тодоровский

Режиссер-постановщик — П. Тодоровский

Операторы — В. Костроменко, Л. Бурлака, В. Авлошенко

Художники-постановщики — В. Коновалов, А. Овсянкин

Композитор — Б. Карамышев

Звукооператор — В. Курганский

Художник по костюмам — Г. Заславский

Монтажер — Э. Майская

Роли исполняют:

Никитин — В. Четвериков

Зоя — Г. Польских

Мурга — А. Потапов

Иван Терентьевич — Е. Евстигнеев

Мать Зои — А. Дмитриева

Женщина — В. Телегина

Строков — В. Краснов

Командир взвода — Г. Дрозд

Старшина — Ю. Зобов

Лейтенант — Ю. Соловьев

Первая вдова — В. Кулакова

Вторая вдова — Л. Овчинникова

Третья вдова — В. Ролдугина

## Содержание

<i>Капли Датского короля</i> . . . . .	3
--	---

### I

До свидания, мальчики . . . . .	6
Песня о московских ополченцах . . . . .	7
Песенка о пехоте . . . . .	7
Шла война к тому Берлину . . . . .	8
Мы за ценой не постоим . . . . .	8
Аты-баты, шли солдаты . . . . .	10
Затихнет шрапнель . . . . .	10
Бери шинель, пошли домой . . . . .	11
А годы уходят, уходят . . . . .	12
Блиндажи той войны все травой заросли . . . . .	13
Прощание с Польшей . . . . .	14
Счастливый жребий . . . . .	14
Женя, Женечка и "катюша". Киноповесть . . . . .	17
Верность. Киносценарий . . . . .	73

<i>Песенка о каплях Датского короля</i> . . . . .	129
---	-----

### II

Ваше благородие, госпожа разлука . . . . .	132
Красотки томный взор . . . . .	133
Романс о любви . . . . .	133
Песенка мушкетеров . . . . .	134
Песенка о соломенной шляпке . . . . .	135
Лакей кружится... . . . . .	135
Песенка человека, решившего жениться . . . . .	136
Песенка об утраченных надеждах . . . . .	137
Романс Книгиной . . . . .	138
Там, за седьмой горюю... . . . . .	138
Есть муки у огня... . . . . .	139
К чему нам быть на "ты", к чему?.. . . . .	139
В нашем старом саду... . . . . .	140
Проводы юнкеров . . . . .	140
Песенка кавалергарда . . . . .	141
Солнышко сияет, музыка играет... . . . .	142
Старинная солдатская песня . . . . .	142
Песенка о дальней дороге . . . . .	143
Вот какая-то лошадка... . . . . .	144
Дождик осенний . . . . .	144
Дорожная песня . . . . .	145
Мы любили Мельпомену... Вариант легенды . . . . .	149



### III

Полночный троллейбус . . . . .	214
Веселый барабанщик . . . . .	215
Как случилось — не заметила сама... . . . . .	215
Песенка про море . . . . .	216
Старый причал . . . . .	216
Песенка о морях . . . . .	217
Плывут дома, как корабли... . . . .	218
Пускай твердят иные остряки... . . . .	218
Сентиментальный марш . . . . .	219
Из окон корочкой несет поджаристой... . . . .	219
Не верю в бога и в судьбу... . . . .	220
Гори, огонь, гори (“Неистов и упрямы”) . . . . .	221
Песенка о присяге . . . . .	221
Ночной разговор . . . . .	222
Главная песенка . . . . .	222
Песенка о голубом шарике . . . . .	223
Дежурный по апрелю . . . . .	223
Старый пиджак . . . . .	224
Песенка об открытой двери . . . . .	225
Надежда, белою рукою... . . . .	225
Песенка об Арбате . . . . .	226
Часовые лобви . . . . .	226
Живописцы . . . . .	227
Цирк . . . . .	228
Антон Палыч Чехов однажды заметил... . . . .	229
Пиратская лирическая . . . . .	229
Стать богатеем иной норовит... . . . .	230
Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину . . . . .	231
Былое нельзя воротить... . . . .	231
Две дороги . . . . .	232
Молитва . . . . .	233
Грузинская песня . . . . .	234
Пожелание друзьям . . . . .	234
Союз друзей . . . . .	235
Прощание с новогодней елкой . . . . .	236
Я вновь повстречался с надеждой... . . . .	237
<b>Стихотворения, посвященные кинематографистам</b>	
По Смоленской дороге . . . . .	238
“Мы приедем туда, приедем...” . . . . .	238
О Володе Высоцком . . . . .	240
Музыкант . . . . .	241
“Что-то знает Шура Лифшиц” . . . . .	242
“Приносит письма письмоносец...” . . . . .	242
Нянька . . . . .	243
Комментарии . . . . .	244

# **БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА**

## **Капли Датского короля**

**Киносценарии. Песни для кино**

**Редактор  
Т.В.Титова**

**Художественный редактор  
Ю.П.Фролов**

**Технический редактор  
В.А.Мурашева**

**Корректор  
Е.В.Сулькина**

**Сдано в набор 25.06.91 Подписано в печать 20.11.91.**

**Формат издания 84x108 1/32. Бумага офсетная.**

**Печать офсетная. Гарнитура "Таймс"**

**Усл.-печ.л. 13,44. Уч.-изд.-л. 14,112.**

**Тираж 70 000 экз. Зак. 397.**

**СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР**

**Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр",  
123376, Москва, ул. Дружинниковская, 15**

**Отпечатано с оригинал-макета типографией № 1  
220041. г. Минск, Ленинский пр., 79.**

**О  $\frac{4910000000 - 017}{086(02) - 91}$  - 41 - 17 - 91.**

**ISBN 5-7240-0016-4**

